

Николай Верёвошкин



ВЕРШИННАЯ ЕЛЬ

В скучное мужское купе вошла роскошная челночница.

От неё исходил азартный запах барахолки, искушение тёплого солнца начала осени.

Такие красавицы с женственно-мощными формами, уверенными движениями и прямым станом встречаются ныне среди штангисток среднего веса.

Да, времена меняются. Назови женщину штангисткой лет десять назад, непременно схлопотал бы пощечину.

Не женщина – каравай только что из деревенской печи. Пышная. Румяная. В кроссовках на упругой подошве, в мягком замшевом спортивном костюме пепельного цвета. Куртка с капюшоном. Шаровары плотно облегают бёдра и бодрые, живые ягодицы.

Есть на что приятно посмотреть.

Мы – трое мужчин среднего возраста, – суется и мешая друг другу, помогли ей распахать баулы по тесному пространству купе.

Похлопав крепкой ладонью по верхней полке, она кратко и властно спросила:

– Чья?

– Моя, – насторожившись, отвечал человек, лицом и фигурой похожий на Жерара Депардье.

– Меняемся. Моя нижняя.

Челночница, не ожидая согласия, отстегнула поясной кошель и зашвырнула его наверх.

– Неужели я так плохо выгляжу? – расстроился человек, похожий на Депардье.

– Всё молодитесь, всё молодыми хотите быть, – строго одернула его дама.

– Да боже упаси. Не хочу я быть молодым, – запротестовал он, – хочу быть старым. Но здоровым.

Человеку, похожему на Депардье, не было и сорока. Но тон его не оставлял сомнений: он действительно не хотел быть молодым. Мужчины с такими лицами редко врут. Это качество в актёрах и принимают за редкий талант. Была в его

По причинам, которые прояснятся позднее, имена героев, названия ущелий, перевалов и вершин заменены псевдонимами, а события несколько смещены как в пространстве, так и во времени. – Прим. автора.



серых глазах отрешенность. Даже опустошенность. И держался он несколько скованно, отчужденно, словно боялся расплескать из души при свидетелях нечто холодное, неприятное.

– Это даже как-то неприлично, уступать даме верхнюю полку, – сверкнув золотой оправой круглых очков, подключился к разговору дородный пассажир с окладистой бородой и пышной серебряно-пепельной гривой. Этаким доброжелательный, красиво седеющий лев в мешковатой вельветовой куртке, очень похожий на ведущего телеканала «Культура» Андрея Максимова. – Обычно принято, мужчины уступают нижнюю.

– Мужчины? – удивилась челночница. – Где вы видели в последнее время мужчин? Редко, наверное, в поездах ездите. К тому же я не дама. Я челночница. Люблю верхнюю полку. Хоть высплюсь по-человечески. Внизу не дадут. Начнут стол собирать. Пакетами шуршать. Куриц разламывать, яйцами об стол стучать. Скорлупу облупливать. Терпеть не могу запаха яиц.

– Я в поездах вообще не ем, – обиделся «Депардье».

– А вот я, грешным делом, люблю в дороге хорошо покушать, – весь засветился плотоядной радостью гривастый, добродушный толстяк.

– Может быть, вы свою полку уступите даме? – спросил меня «Депардье», поставленный челночницей в неловкое положение.

– Нет, нет! – решительно пресекла она его попытку спасти мужское достоинство за мой счет. – С той полки, если поезд резко затормозит, я вниз полечу, а на вашей только в стенку упрусь. Я всегда выбираю полку по ходу движения. И вам советую. Вышли бы вы, мужики, покурить.

– С чего бы поезду резко тормозить, – проворчал «Депардье», вставая.

– Вот я и говорю: редко вы в поездах ездите, – усмехнулась челночница и приказала: – Разбудите, когда к Шарышагану будем подъезжать. Хочу вяленого судака купить.

И в это время всех нас сильно качнуло по ходу движения. Заскрежетав и застонав, поезд остановился.

– Почему стоим? – спросил я проводницу.

– Гаишник остановил.

– Как гаишник? – удивился бородатый. – Почему гаишник?

– Скорость превысили, вот и остановил, – хмуро отвечала проводница, изнуренная глупыми вопросами пассажиров.

– Должно быть, встречный ждём. Или «испанца» вперёд себя пропускаем, – предположил «Депардье». – Очень удобный поезд этот «испанец». Вечером в Алма-Ате лёг, утром проснулся – Астана. Вроде и время на дорогу не затратил. Ночью всё равно спишь. Научились у нас к людям по-человечески относиться. Если эти люди – чиновники.

– Почему чиновники? – спросил наивно бородач.

– «Испанца» специально пустили для начальства, живущего на две столицы, – объяснил «Депардье».

– Но ездят-то на нём не одни чиновники, – сказал гривастый примирительно.

– Да, конечно, – холодно согласился «Депардье».

– А мне «испанец» не нравится, – задушевно сказал бородач, – уюта в нём нет. Души. Слишком всё рационально. Ни чаи погонять, ни с попутчиком поговорить. Сам я рассказчик никудышный, но слушатель гениальный. Ездил я как-то

на нём. Тесно, узко, низко. Да и дорого. Входил – душа была, вошёл – нет души. Чувствуешь себя багажом до востребования. Вставили тебя в ячейку, и лежи до станции назначения.

– Когда я говорил «удобный поезд», то имел в виду только расписание, – объяснил «Депардье».

Был тёплый сентябрьский вечер, полный покоя и умиротворения. Спорить не хотелось. Хотелось со всеми соглашаться и поддакивать.

Полиэтиленовые пакеты неприкаянными призрачными душами во множестве светились на выгоревших сопках Прибалхашья.

Сразу за рвом, отделявшим насыпь железной дороги от степи, чернело обширное пятно пала, низового пожара, случившегося, видимо, из-за сигареты, выброшенной из проходящего поезда.

Посредине пятна стояло маленькое христианское кладбище с обугленными крестами и оградой. Из черноты ярко светился бумажными цветами венок на свежей могиле, появившейся после пожара.

Прогрохотал встречный состав, обдав нас полынным ветром, утробным гулом пустых цистерн и возвышенной тоской обширных пространств. Наш поезд, содрогнувшись, набирал ход.

Никто из моих попутчиков не был курильщиком. И без общего, объединяющего, пусть и глупого, занятия мы чувствовали себя неловко и скованно.

Поговорили о том, о сём. Надо ли было строить новую столицу и тратить на это уйму бюджетных денег?

Человек, похожий на Депардье, сильно в этом сомневался.

Гривастый же, напротив, был твёрдо убежден: не пусти средства на это достойное дело, их всё равно бы распилили и проели частным образом. А не разворовали бы – съела инфляция. А тут дело на века – город. И очень даже неплохой город. Алма-Ата, конечно, тоже неплохой город, кто спорит, но там иногда трясет.

«Депардье» согласился с большой неохотой.

Из чего я заключил, что он – алмаатинец, а гривастый лев, напротив, астанинец.

Лучи вечернего солнца стелились параллельно степи и насквозь простреливали вагон: окно – дверь – окно. Призрачно мелькали тени столбов. Как намеки.

По-домашнему уютно светились золотые пятки челночницы, спящей на верхней полке, мерно покачивался пышный круп.

Рыжая азиатская степь и сопки залиты благодатным светом.

Мир соткан из теплого золота верблюжьей шерсти.

Случаются на наших широтах дни золотого равновесия.

Не так часто, к сожалению.

Может быть, пять-шесть дней в мае и день-другой в сентябре.

Все приходит в равновесие, взаимопроникновение: свет и тени, жара и прохлада, тишина и звуки, душа и тело, краски сливаются в необыкновенной гармонии.

Гармония во всем.

Это был вечер того самого сентябрьского дня благодати и умиротворения, особой ясности и светлой печали смирения, которых так жаждет суетная душа человека.

Тёплый, золотой покой переполнял живые существа в канун близкого не-настья.

– В такой день, – сказал толстый человек с окладистой бородой, с нежностью смотря прямо на солнце, – останавливаются войны.

И мы надолго замолчали.

Поезд, монотонно выстукивая один и тот же вдохновенный ритм, шёл сквозь золотую вечернюю дремоту.

Покачивание вагона и покой за окном оставляли впечатление отрешённости. Светлой, не мигающей грусти. Настроения «Анжелус» Милле – пустынные поля сливающиеся с небом, умиротворение вечерней молитвы. Впечатление «Сонаты ужа» Чюрлёниса.

Беззвучно прокатилась мимо грузовая машина.

Пыль, поднятая с неровностей полевой дороги, висела в воздухе.

Неподвижной кардиограммой.

Графическим изображением сердечного пульса.

Так же беззвучно проскакал всадник на красной лошади.

Из светлого ниоткуда в светлое никуда.

Там, где ударили копыта, торчали пыльные столбики.

Светились свечами.

Застыв в стоп-кадре.

Приятно думается, когда за окном поскрипывающего старого вагона проплывает уныло однообразная и невероятно поэтическая полупустыня.

Казахский мелкосопочник не отвлекает от мыслей, но придает им особый привкус светлой печали.

Преходящее.

Необратимое.

Пыль смешалась с закатом.

Призрачное стадо коров вылеплено из пожара.

Всё красно.

Но как невероятно разнообразны оттенки красного, среди которых господствует прозрачно-брусничный.

Пар над рекой прохладной, текущей дорогой рассекает призрачное село, огненные дома и деревья...

И я заснул. Совершенно счастливый и безмятежный, как можно заснуть только в палатке на леднике или на верхней полке вагона в поезде, въезжающем в ночь.

* * *

Мне приснился сон, который часто снится алмаатинцам.

Мне приснилось землетрясение.

Дом раскачивался, хрустел и скрипел.

Я проснулся в страхе.

Дом продолжал опасно раскачиваться, скрипеть и хрустеть.

Не сразу до меня дошло, что это раскачивался, хрустел и скрипел старый вагон скорого поезда.

Однообразный перестук колес и тихий голос человека, похожего на Депардьё, избавили меня от оцепенения и животного страха.

– ...не знаю, где он услышал легенду о вершинной ели. Может быть, сам сочинил. Бард. Ему это ничего не стоило.

Мы этой вершинной ели несколько лет поклонялись. Как язычники. Сначала в шутку.

А потом эта вершинная ель стала нашим тотемом, капищем.

Религией.

В тот день мы с Тимуром шли на пик Лавинный с благородной целью изловить и набить морду мерзавцу, который малевал на легкодоступных, некатегорийных вершинах свастику.

До того как в горах стали появляться свастики, мы были уверены, что выше верхней границы леса поднимаются только хорошие люди, что высота отфильтровывает всякую гниль. И свято соблюдали обычай здороваться в горах с незнакомыми людьми, уступать тропу спускающимся вниз.

Мерзавец, малевавший на вершинах свастику, подрывал нашу веру.

Поздороваясь, а он на вершинах свастики малюет.

Но нам никак не удавалось захватить гниду врасплох, поймать с поличным.

Оставалось закрашивать свастику в чёрный квадрат.

Этот гад стал малевать белые свастики.

Пришлось носить на вершины две банки.

Нарисует белую свастику – белый квадрат, чёрную – чёрный.

Тогда этот неистребимый компьютерный вирус стал малевать на чёрных квадратах белые свастики, а на белых – чёрные.

Приходилось чёрные квадраты перекрашивать в белые, а белые – в чёрные.

Битва Малевича с фашизмом.

В этой борьбе мы были не одиноки, что отчасти вернуло нам веру в людей.

Поднимешься на вершину, а там уже или чёрный, или белый квадрат.

Наши высоту взяли.

Откуда берётся эта бескорыстная страсть гадить исподтишка в красивых местах? Откуда все эти компьютерные вирусы, надписи дёгтем на воротах, свастики в горах, сплетни за спиной, сетевые хомячки?

Неужели человек такая дрянь? Чёрт его знает.

Тропа на Лавинный проходила по хребту Мохнатой горы. И есть там место, которое мы звали Верблюжьими горбами.

Там-то у Тимура и оторвалась подошва.

Сел он на сухой ствол сосны, снял башмак, похлопал надорванной подошвой и говорит:

– В принципе, вечные башмаки сделать можно. Но зачем? Интересно, сколько ещё башмаков я изношу в горах?

Из башмака – пар, как из кастрюли.

Снимает он второй башмак. Из него тоже пар валит.

– Почему именно левый?

– Потому что ты левша.

– Хочешь сказать, что левая делает больше шагов, чем правая? Правый совершенно как новый, а придётся тоже выбрасывать. Обидно.

Снял с ног носки, опустил ступни на землю.

Ноги тоже парят. И носки.

– Хорошо! Такая лёгкость – чихнёшь и улетишь. Хоть по камню к ногам привязывай.

Связал Тимур башмаки шнурками, раскрутил и швырнул вниз по склону.

– Зачем мусоришь?

– Альпинистские башмаки – не мусор. Жертвоприношение.

– А вниз босиком пойдешь?

– Ты так плохо обо мне думаешь? – огорчился он. – Запомни: в рюкзаке всегда должны быть лёгкие кроссовки.

Порылся в рюкзаке и сильно удивился:

– Куда же они делись?

Всё вытряхнул – нет кроссовок.

– Слушай, у тебя случайно нет запасной обуви?

– Не имею привычки таскать лишнее.

– Зря, – сказал он с осуждением, – в рюкзаке всегда должны лежать кроссовки.

Запомни на будущее и детям завещаи.

Назидатель.

И лицо его стало печальным.

Я подошёл к краю обрыва, куда улетели башмаки, заглянул. Гора, как буханка круглого хлеба. Половину отрезали и съели. Стена, хоть отвес опускай.

Снял я рюкзак.

– Ты куда?

– Куда, куда. За башмаками.

Если ты что-то обязан сделать, а не сделаешь – всё равно заставят. Вызовись добровольцем – заслужишь репутацию славного парня и избежишь принуждения.

Когда я вернулся с башмаками на шею, босоногий Тимур обнимал ствол ели.

Глаза прикрыты. Веки дрожат. Блаженная улыбка. Мурлычет в вожделении.

– Ты что делаешь, босоногий?

– Насыщаюсь энергией космоса.

– Долго будешь насыщаться?

– Не мешай.

Сел я на сухой ствол сосны. Дышу. Жду.

Страстно обнимая ель, Тимур и рассказал мне поверье.

Может быть, древняя легенда. А может быть, придумал ритуал только что.

Суть такая. На макушке каждой лесистой горы растёт вершинная ель. Та, что возвышается над всеми деревьями. И если удастся обхватить её руками, хотя бы соприкоснуться средними пальцами, замкнуть ствол в кольцо, через ель, как через антенну, в тебя начнёт перетекать энергия космоса.

– Перетекает?

– А ты попробуй.

– Что зря пробовать. Это не вершинная ель.

– Сегодня я сделал великое открытие, – разомкнув жаркие объятия, сказал

Тимур.

– Опять? – не удивился я. – Сегодня это третье великое открытие. И в чём суть?

– Перед тем как обхватить ель, нужно снять башмаки, чтобы ноги касались земли без изоляции. Эффект утраивается. Попробуй. Конечно, не вершинная ель, но всё же.

Я попробовал.

Но разуваться не стал.

Размер ноги у нас с Тимуром одинаковый, а повадки своего друга я хорошо знал. Вполне возможно, что и легенду он придумал, чтобы завладеть моими ботинками.

Я сомкнул руки на стволе.

И сразу почувствовал пронизывающий внутренний гул дерева.

Мелкие вибрации.

Сначала гудела ель, а затем этот гул перешел в моё тело.

И я стал частью дерева.

Давнее поверье, выдумка ли Тимура, но что-то гипнотическое было в этом ритуале.

Древнее колдовство.

Магия.

Тимур стоял рядом и жевал золотую сукровицу живицы, вытекающей из стигмата на еловом стволе.

Он всегда что-нибудь жевал по пути. Молодые листья крапивы. Еловые и сосновые лапки. Ножки грибов. Познавал суть растений.

Хорошо, что ему не приходило в голову познавать таким же образом суть животных и людей.

– Слушай, – говорю, – на Лавинный с твоим башмаком мы не пойдём. Давай поднимемся на Мохнатую, посмотрим вершинную ель. А потом спустимся по северному склону, сократим путь.

Вершины ниже верхней границы леса многие не считают за горы. Тропы на макушку Мохнатой не было. Но мне нравится подниматься по склонам, заросшим вековыми деревьями. Это сказка – погружение в столетний покой великанов. Замшелый лес, скальные обнажения, прохладный полусумрак и тёплые пятна полян, подстилка из хвои. Тишина. Грибной запах. Тень пролетевшей птицы. Возможно, синей. Корни расползаются змеями от стволов, переплетаются.

– Дорогой мой друг Паша, а не махнуться ли нам башмаками, не глядя? – предлагает мой дорогой друг Тимур.

– Чего ради?

– Скрип этого башмака скрепит наше горное братство. В глубокой старости скрип твоих дряхлых суставов напомнит тебе, как однажды ты спас своего лучшего друга от мозоли.

– И натёр мозоль себе, – продолжил я его мысль.

– Ну что такое мозоль? Мелочь, – успокоил меня Тимур. – Я напишу песню о рваном альпинистском башмаке и посвящу её тебе. У всех костров по всей планете бородатые люди будут петь её под расстроенные гитары и вспоминать тебя.

– Я не люблю бардовскую песню.

– Это единственный твой недостаток. Знаешь, Паша, если бы у тебя оторвалась подошва, я бы сам предложил поменяться.

– Буду иметь в виду.

Тимур, разочаровавшись во мне, тащился сзади, хлопая подошвой.

– Ну скажи, почему ты не хочешь меняться? – недоумевал он. – Хотя бы из любопытства. Ты никогда не ходил по горам в башмаке с надорванной подошвой?

– Я человек нелюбопытный.

Мы поднялись на Мохнатую и с минуту молчали.

Макушка горы представляла собой полянку – аккуратную монашескую лы-синку – тонзуру, в центре которой росла циклопических размеров ель.

Не вековая.

Вечная.

Она одна стоила целого леса.

Вечнозелёный, сильно вытянутый конус густой хвои – как дымный след взлетающей ракеты.

Тимур пронырнул завесу из ветвей и, хлопая подошвой, обошёл вокруг ствола, поглаживая шершавую кору, покрытую вечными ранами – стигматами – с густой янтарной кровью.

Нижние ветви, как уики – рёбра юрты, опускались до земли.

– Её и втроем не обхватишь, – сказал Тимур, – только вчетвером.

Какие-то придурки жгли под ней костёр. Прямо на корнях.

– Попадись они мне, я бы у каждого по левому башмаку конфисковал, – раз-мечтался Тимур.

На спуске мой товарищ то и дело спотыкался, цепляясь надорванной подошвой за корни и камни. Чертыхаясь, он пытался идти боком, задом наперёд и умолял проявить милосердие – пристрелить его.

– С удовольствием. Из чего?

Потом он принялся шантажировать меня, угрожая написать песню о жестоко-сердном друге, бросившем в горах напарника умирать от мозолей:

– Бородатые люди будут петь её на всех языках мира и проклинать тебя, Паша.

– Как же ты напишешь песню после того, как погибнешь от мозоли, несо-вместимой с жизнью? – спрашивал я бессовестно.

– Ты не знаешь легенду о сером альпинисте? – удивлялся Тимур. – Этот мертвец, между прочим, до сих пор бродит по горам и, заглядывая по ночам в палатки, ищет друга-предателя. Отчего, ты думаешь, люди спят головами к вы-ходу? Чтобы не обознался.

Через минуту его осенила новая идея:

– Ну хорошо. Уговорил. Согласен на компромисс. Давай меняться только левыми ботинками.

– В честь чего?

– В честь нашей дружбы.

– А нельзя ли в честь нашей дружбы обменяться правыми башмаками?

– А ты коварный. О, я не знал, какой ты коварный, – окончательно разочаро-вался он во мне.

Однако солнце садилось, а Тимур шёл всё медленнее. Пришлось поменяться левыми ботинками. Я подвязал надорванную подошву репшнуром, и мы успели на последний автобус.

* * *

– Написал? – спросил гривастый.

– Что?

– Песню о башмаке.

– Нет, Тимур так и не написал балладу о рваном башмаке и милосердном друге. Капризная муза чурается таких низменных тем, как мозоли. Он написал

две строки: «Когда я буду вдалеке, напомни мне о башмаке», – и вдохновение покинуло его.

Но на день рождения он подарил мне тот самый башмак, к которому была привинчена бронзовая табличка с выгравированными на ней эдельвейсами, ледорубом и словами: «Памятным башмаком награждается имярек за мужество и героизм, проявленные в горах Заилийского Алатау...» Ну и так далее.

– По мне, что в горы, что роаяль на десятый этаж нести. Не понимаю я это удовольствие. Не люблю ни горы, ни лестницы. Люблю лифт, – сказал бородатый.

– Не любить горы нельзя. Любить горы можно разнообразно, – отвечал его собеседник. – Обычно их любят по высоте. По этой шкале «горцы» делятся на несколько категорий.

Самый низший, презираемый всеми разряд – гуляки. Джипы, джинсы, животы, нездоровое возбуждение. Они выезжают «на природу», чтобы поставить между обочиной дороги и горной речкой мангал. Но прекрасно могут обойтись и без шашлыка. Хорошо выпить, закусить, повизжать, намусорить – и вся любовь.

Как будто всё это нельзя сделать у себя на кухне.

Среди этой весёлой компании по печальным глазам всегда можно определить водителя.

Собственно, гуляк следует исключить из числа горных людей. Горами принято называть то, что недоступно для машин.

За это их и любят.

Машина унижает горы. Неприличные городские звуки, издаваемые снегоходами и тетрациклами, шум вертолетных винтов, бабий истеричный визг бензопил оскорбляют и бесят горных людей. Они скорбят, предчувствуя массовое вторжение моторизованного хама в созерцательный покой гор. В день, когда на недоступной вершине появится машина, планету можно считать необитаемой.

Вычеркиваем пузатых людей на машинах.

К первой категории я бы отнес ущельцев – людей у самых подошв гор.

Бабушки – любительницы купания в хрустальном холоде горных речек.

Огнепоклонники, бегающие босиком по раскалённым углям.

Рериховцы – созерцатели и любители пофилософствовать. К сожалению, исчезающий вид.

В особую группу ущельцев следует выделить дегустаторов, которых не стоит путать с гуляками и прогульщиками. Это изготовители домашних вин. Они оторвались от подошв, от ущельцев, но не поднялись до перевальцев. Дегустаторы обустривают бивуаки в скрытных местах и никогда не оставляют улики. Интеллигентные люди. Не опускаются до банальных пьянок, но предаются возвышенным беседам о вкусовых букетах вин и секретах их производства.

Встречали мы среди ущельцев одиночек, которых я затрудняюсь отнести к какой-либо группе по причине их исключительности. Допустим, шаман в зелёной рясе с пёстрым бубном, обучавший всех желающих посредством дикого танца превращать сексуальную энергию в духовную.

Вторая высотная ступень – собиратели.

Грибники, ягодники, травники. Охотники за причудливыми корневищами для поделок.

К любви к горам у заготовителей примешивается некоторая корысть. Вполне понятная и извинительная.

Собиратели никогда не поднимаются выше верхней границы леса.

Но ходить по грибы в горах – удовольствие особого рода. Как минимум нужно знать азы горовосхождения. Знакомый альпинист, которого родная бабушка принудила сходить с ней по грибы, божился, что так не устал, взошедши на Хан-Тенгри. Если бы на вершине Хан-Тенгри росли рыжики, утверждал он, моя бабушка была бы там раньше меня. Причём до восхода солнца.

Собиратели – народ скрытный, недоверчивый, подозревающий. Часто они маскируются под туристов. Грибные и ягодные места не выдают даже под пыткой.

Как-то мы с Тимуром едва не до смерти защекотали одного грибника. Он изошёл слезами, бился в конвульсиях, но так и не сознался, где нарвал белые грибы.

Третья ступень – ишачки. Туристы. Турики. Зовут их ещё осликами, верблюдами, перевальцами, лосями, тяжеловедами, ходоками, муравьями. Упёртый народ. Это они протоптали в горах тропы. Глубокие, как фронтовые траншеи. Народ компанейский. Бродят по горам небольшими стадами, выстроившись вереницей и уперши взгляд в пятки впереди идущего. Страстные поклонники костров и бардовских песен.

Это они придумали измерять расстояние в горах часами и минутами.

Пространство измерять временем.

На самой вершине, во всех смыслах, аристократы гор – альпинисты.

Снежные барсы, горные козлы.

По роду занятий им положено свысока взирать на копошащихся внизу.

С вершины по-другому не помотришь.

А знаете, что роднит моряков, потерпевших кораблекрушение, с альпинистами, взошедшими на вершину?

Бутылка с запечатанной в ней запиской.

Конечно, это не полный перечень.

Есть особый подвид горных бомжей, которых часто принимают за снежных людей. Бездомные бродяги, оборудовавшие себе схроны в глухих щелях. Как живут, чем питаются – науке неизвестно.

А, допустим, куда отнести фотографов и художников?

Людей на горных велосипедах?

Пожалуй, велосипедистов следует отнести к ущельцам. Хотя иных из них можно назвать и перевальцами.

В свою очередь, эти ребята делятся на трудяг, «потные майки», и халявщиков, «сухие майки».

Трудяги, отдуваясь, обливаясь потом и умирая, поднимаются по долгим тягунам своим ходом. Халявщики – на автобусах и автомобилях.

На халяву за день можно спуститься с горы множество раз. Но халявщик никогда не узнает, что такое скатиться с горы после того, как ты едва не умер, поднимаясь на неё. Не то удовольствие. Всё равно что спуститься на вершину с вертолета.

А к какому из четырёх разрядов отнести горнолыжников? И тех, кто катается на подготовленных дорогах трассах, поднимаясь вверх в кресельных подъёмниках. И тех, кто топчет склон лесенкой, поднимаясь вверх на бугеле. И тех, кто с лыжами на плечах поднимается пешком на вершины, а оттуда в стиле самоубийц, провоцируя лавины, спускается по пухляку.

Странная привычка у людей делиться на группы, классы, слои и прослойки.

Ущельцы, «потные майки», собиратели, перевальцы, горные козлы по мере набора высоты относятся к остающимся внизу с лёгким покровительством. Точнее, снисхождением.

Но втайне уважают друг друга.

В горах сохранился обычай здороваться со встречными незнакомцами и уступать тропу спускающимся вниз.

Во всяком случае, до появления в наших горах засранца, малюющего на вершинах свастику.

Мы с Тимуром относились к дикарям-универсалам и не чурались ни одной из категорий, поскольку любили горы не по частям, а целиком – от подошв до вершин.

При случае, скинув башмаки, бегали по углям вместе с весёлыми от домашнего вина огнепоклонниками. По примеру бабушек-ивановок, обняв скользкие валуны, погружали раскалённые тела в пузырящиеся холодным шампанским ручьи. Вперив очи в снежные вершины, в компании рериховцев были не прочь поразмышлять о местонахождении Шамбалы и свете мира.

А отчего бы не пособирать в еловых и сосновых лесах рыжики? Ничего зазорного, а наоборот – очень даже вкусно. Найдёшь семейку, опустишься на колени, раскроешь нож и помедлишь, прежде чем срезать ножку. Расчешешь траву, а там ещё прячутся. Шляпки с полтинник. Доводилось мне стоять перед Джокондой в Лувре. И честно признаюсь, такого эстетического удовольствия, как перед маленьким рыжиком, который можно протиснуть в горлышко бутылки из-под шампанского, я не испытал.

В полном смысле альпинистами мы с Тимуром назвать себя не могли и скромно именовались горевосходителями, но, тем не менее, нет ни одной вершины, видной из города, на которой мы с ним не побывали бы.

В те годы мы не ходили, а бегали по горам.

Особенно, конечно, на спуске.

Вверх поднимались своим темпом. А поскольку были равны по силам, не утомляли друг друга ни погоней, ни ожиданием. А вниз бежали, испытывая невесомость и крепость колен.

Помимо всего прочего, отдали мы дань и горному велосипеду, и горным лыжам.

Нет, не любить горы нельзя. Горы – это вообще другой мир. Четвёртое измерение. Миф наяву. Только здесь и сохранился дух древней Эллады, золотого века человечества.

Что такое Алма-Ата без гор?

Провинциальный город.

Та же Астана.

* * *

– Ага! Всё-таки вы, алмаатинцы, ревнуете к Астане? Гложет червячок? Гложет? – спросил с задиристой усмешкой гривастый.

– С чего бы?

– Ну как же. Отобрали статус столицы. Великий город, так сказать, с областной судьбой. Второй Петербург.

– Да ну! К чему ревновать? К суете? Наоборот. После отъезда чиновников Алма-Ата стала даже уютнее, домашней, спокойнее. Чище. Даже чёрные дрозды вернулись. Вот если бы в новую столицу наши горы перевезли – другое дело. Тогда бы обиделись.

– Вместе с землетрясениями? – испугался Гривастый. – Спасибо, не надо... Ну, извините, перебил. Поймали фашиста?

– В следующую субботу шли мы на пик Лавинный бороться с коричневой чумой.

Тимур был в новых альпинистских башмаках-термосах. От плюс пятидесяти до минус пятидесяти ногам комфортно. На них можно пудовый камень уронить и не заметить. Можно час в ручье стоять и носки не замочить. Агрессивные протекторы не скользят в дождь на склоне. И при этом не сказать, чтобы очень тяжелые.

Чудо, а не башмаки.

Один недостаток: сто́ят как горный велосипед.

Но Тимур был недоволен:

– Ноги как чужие. Чувствуешь себя бегемотом на ходулях. И пальцы в носок упираются. На спуске все ногти сорву.

– Давай махнёмся, – пожалел я его.

– Ну что ты! Не могу же я всё время злоупотреблять нашей дружбой, – благо-родно отклонил он моё предложение.

Слышим: по ходу движения в ельнике на северном склоне оркестр по нотам рубит лес.

Дробная, сухая, слегка резонирующая мелодия преодолевает вековую тишину, как толщу вод.

Эхо, разнося по ущельям глухие звуки, делало их звонкими, хлёткими, сканировало пространство, обнаруживая гулкие, тревожные пустоты гор.

Закроешь глаза – и чувствуешь и глубину, и высоту. А на душе – простор, грусть, утренняя прохлада умиротворения.

– Знакомая мелодия, а вспомнить не могу, – говорит Тимур.

Повторяющаяся во множестве вариаций музыкальная фраза, монотонная и завораживающая, притягивала, как чёрная дыра.

– «Болеро» Равеля! – вспомнил он.

И мы пошли без тропы на звуки. Пересекая по восходящей сумрачный, замшелый лес.

Я знаю, многие любят светлые сосновые леса и не терпят еловые за мрачность, в которой мерещится нечистая сила. Злонамеренность.

Да, сосновые леса ясны, в них есть спокойная богатырская сила.

Мне они тоже нравятся.

Но именно потому, что они далеко просматриваются, в них нет тайны.

Предпочитаю еловые.

Но, конечно, не всякую ель, а нашу, тянь-шаньскую, в которой есть что-то от секвойи – величественное, невозмутимое.

Что-то библейское.

Что-то от вечности.

Мощные, переплетающиеся корни, по которым поднимаешься вверх, как по лестнице. Циклопические стволы – колонны эллинского храма, проросшие вы-

тянутыми конусами хвойных крон. Под каждой елью можно укрыться в дождь, как в юрте. Сидишь на скамье корня, прислонившись спиной к стволу, слушаешь дождь и чувствуешь себя под защитой доброго великана. И воздух особый. По этому воздуху я с закрытыми глазами угадаю тянь-шаньскую ель.

Они не мрачны, тянь-шаньские ели, а слегка сумрачны. Таинственный полумрак сказки, мифа. Совсем не страшный. Наоборот, кажется, кто-то добрый и робкий прячется совсем рядом и, смущаясь, подсматривает за тобой с весёлым любопытством.

Звуки привели нас к поляне, на которой лежал высохший до блеклой синевы ствол ели.

Две девчонки бегали вдоль него, постукивая палками по торчащим обломкам сучьев. Две бабочки порхали между ними. Бабочки, похожие на взмахи рук невидимого дирижёра.

Девчонки не сразу заметили нас.

А заметив, тем более не обратили внимания. Продолжали извлекать из инструмента однообразную, завораживающую мелодию.

Вдохновенно колдовали, запыхавшись.

Обе они были красивы. Но каждая по-своему.

Одна – утонченной стильной красотой аристократки, другая – без затей, пышущей здоровьем красотой крестьянки.

Чёрненькая – коротко остриженная, хрупкая и смуглая, была одета так, будто собралась на дискотеку: шляпка, прозрачный шарфик-платочек, маечка, шортики, гольфики, кроссовочки. Должно быть, перед зеркалом одевалась. Ах, нет! Цвет очков не сочетается с кроссовками. Надена зелёные. Для неё важно, как она будет выглядеть, а не то, насколько одежда и обувь будут удобны в горах.

Рюкзачок, в который едва ли можно втиснуть бутерброд, если в нём уже лежит косметичка.

Вопреки всем правилам, она взяла с собой в горы всё лишнее и ничего необходимого.

Широкоплечая подруга была полной её противоположностью.

Из-под выцветшей солдатской панамы с мятыми и обвисшими полями на плечи падало тяжелое золото волос с ржавым отливом.

Круглые очки для газосварочных работ подняты на туюлю.

Мужская клетчатая рубашка – ковбойка – с длинными рукавами.

Камуфляжные армейские брюки подпоясаны офицерским ремнем. На ремень навешаны нож в деревянных ножнах и мятая, исцарапанная фляжка.

Крепкие, хорошо походившие по горам туристические башмаки с приспущенными «фонариками» от дождя и снега.

Старый, вместительный рюкзак «Ермак» на алюминиевой раме. В него можно самому с ногами залезть.

Некоторое время мы наблюдали за горными сиренами. Тимур поднял два камушка – белый и чёрный, показал их мне и спрятал за спину, а затем протянул сжатые кулаки. Я хлопнул по руке, и мне достался чёрный камушек.

Мы подошли к девушкам поближе и сдержанно поаплодировали.

Они продолжали не обращать на нас внимания.

Тогда Тимур, подставив ладонь к уху, попытался по звучанию инструмента угадать его марку:

– Стейнвей? Циммерман? Бехштейн? Ах, да! Бёзендорфер!

Демонстрация энциклопедических познаний на музыкантш не произвела впечатления. Они продолжали музицировать и старательно не замечали нас.

Тимур предложил настроить инструмент. Ему показалось, будто «соль» западает.

Но та, что в солдатской панаме, так сердито посмотрела на него, что он тут же взял свои слова обратно: прекрасное звучание, прекрасное.

Тимур с треском выломал из ствола две палки и, пристроившись с краю, самозванно вклинился в дуэт. Сначала он просто выстукивал ритм, барабанил, за одним подбирая ноты, как бы настраивая рояль, а затем выступил соло, развивая тему.

Звуки, извлекаемые из окаменевшего ствола, сухие и одновременно утробные, слегка дребезжащие и резонирующие, должно быть, из-за дупла, образовавшегося на месте осыпавшейся трухой сердцевины, были свежими, дикими, первобытными.

Я, человек, лишённый слуха, был единственным слушателем лесного трио. Записать бы тот концерт. Из любой вещи, из любого предмета человек со слухом может извлечь свой звук, свою мелодию. Во всём заключена своя мелодия. Но если бы не девушки, это бревно так бы и сгнило в молчании, как рождается и умирает большинство людей, так и не узнав, для чего родились, потому что до них никому нет дела.

Эти звуки были приятны ещё и потому, что из мёртвого дерева их извлекали очень живые и очень красивые девушки.

– Куда гуляем? – спросил Тимур, вдохновенно выстукивая финал.

– На второй водопад, – нарушила обет молчания чёрненькая и улыбнулась.

– О, нам по пути! – обрадовался Тимур.

С красивыми девушками нам всегда по пути.

Но та, что в солдатской панаме, отшила:

– Мы передумали. Нам в Альпийскую розу.

– Вам повезло! – не сдавался Тимур. – Мы знаем кратчайшую тропу к Альпийской розе.

– Шли бы вы на второй водопад, – оборвала налаживающийся контакт широкоплечая.

– Не боитесь заблудиться? – спросил Тимур чёрненькую. – Ну, как знаете, – и обратился ко мне. – По какой тропе пойдём? По верхней, где в прошлый раз видели помет бурого медведя?

– Безопасней по нижней. По тропе людоеда, – возразил я.

– Того маньяка, который питался девственницами? – засомневался Тимур. – Его ещё не поймали?

– Поймали. Сбежал. Ищут.

– То-то с утра над ущельем вертолет кружил, – закивал головой Тимур. – Теперь не найдут. Пуганый. Пойдём-ка по верхней. А потом по второму кулуару спустимся в Мокрую щель, где в прошлом году вепрь задрал двух туристок из Англии.

– Ты ошибаешься, – возразил я и уточнил: – Их было три. И они были из Дании.

Мы поспорили и сошлись на том, что туристок было всё-таки две, но были они монголками.

И мы пошли не спеша по верхней тропе, жалея, что не напугали девчонок ужасной саблезубой коровой.

– Мальчишки, подождите, – окликнула нас чёрненькая.

Мы очень удивились, но подождали.

Сделали одолжение.

Тимур, игнорируя грубиянку в солдатской панаме, обратился с отеческими назиданиями и наставлениями к чёрненькой:

– Вы бы еще туфли на шпильках надели. Собрались на Капчагай загорать, да в последний момент передумали? А если дождь?

– У меня зонтик есть, – отвечала чёрненькая беспечно.

На что ее подруга фыркнула, а Тимур восхитился:

– Зонтик? В горах? Круто! А верёвка у вас есть? Скажите ещё, что у вас нет верёвки. Как же так, девчонки, в горы и без верёвки? Страховка – обязательное условие преодоления препятствий в горах. Без верёвки в горах не выжить.

– Подумаешь, горы, – фыркнула амазонка с ножом на офицерском поясе. – В этих горах моя бабушка грибы собирает.

– Это вы, девушка, напрасно. Безопасных гор не бывает. Вы знаете, как зовётся тропа, по которой мы сейчас идём? Стёпкина тропа. Стёпка по грибы ходил, кстати. Чуть выше тропа по карнизу над провалом проходит. Сорвался Стёпка и полетел вниз вперегонки с груздями. Метров триста летел. Два дня со стены соскребали. Вы же не хотите, чтобы вашими именами в горах что-нибудь назвали? Кстати, Тимур, Паша.

– Инга, – представилась чёрненькая и сделала книксен.

А её подруга буркнула:

– Ну, Александра.

– Так что, Александра, раз уж вы к нам примкнули, будем жить по закону гор: или выживем все в одной связке, или все в одной связке погибнем. Паша, веревку!

– А другой тропы, кроме Стёпкиной, нет? – спросила Инга, когда я делал ей обвязку.

– А что нам угрожает? – успокоил её Тимур. – В крайнем случае, сорвёмся с карниза и разобьёмся. Но ведь мы всё равно когда-нибудь умрём.

Александра обмотать себя верёвкой не дала, сказавши: ещё чего!

Она шла впереди без привязи.

И мы повели Ингу по Стёпкиной тропе, как комнатную собачку на двух поводках.

Тимур впереди, за ним Инга, я замыкал группу.

Но знаете, когда два существа соединены поводком, ещё неизвестно, кто кого ведёт.

Инга на каждом шагу, чтобы не потерять лёгкость походки, слегка подпрыгивала.

По-птичьи.

Цапля на длинных, изящных ногах.

Забавно видеть балерину, поднимающуюся по тягуну на пуантах.

У Александры были мускулистые, хорошо развитые ноги спортсменки. Шаг равномерный, уверенный, мощный, как у владимирского тяжеловоза.

Наш человек.

Большое удовольствие, скажу вам, не спеша идти за красивыми девушками в гору.

Тягун кажется не таким нудным.

Век бы шёл, не отвлекаясь на горные виды.

Правда, в горах красивые девушки – большая редкость.

Чем выше, тем безнадежнее.

Там другие критерии и другой отбор. Человек ценится не за такие пустяки как красивые ноги, а совсем за другие качества.

Тимур сказал в восхищении:

– Александра, ты просто горная кентаврица.

– А ты – горный козёл, – фыркнула кентаврица.

– Ошибаешься. Горный Козлов – это Паша, – поскромничал Тимур.

– А я похожа на кентаврицу? – спросила Инга.

Тимур оглянулся:

– Ты – порхающий цветок. Бабочка. Тянь-шаньский Аполлон. Мнимозина.

– Сам ты Аполлон, – обиделась Александра за подругу. – Инга – порхалка, я – кобыла. Тоже мне, ирис Альберта, тюльпан Колпаковского.

Извлеки из ножен нож-пилу устрашающих размеров, она приказала мне:

– А ну развяжи Ингу, пока вашу бельевую верёвку не порезала.

– Отчего же бельевая? – обиделся я. – Буржуйка. На рывок тонну выдержит.

– Девчонки, я не хотел вас обидеть, – покаялся Тимур, – хотите, мы покажем вам нашу самую большую тайну? Вы умеете хранить тайну?

– Не надо, – насторожилась Александра. – Мы не умеем хранить тайны.

Но Инга была любопытна. К тому же ей очень хотелось свернуть со Стёпкиной тропы.

И мы повели девчонок вверх без тропы через лес на вершину Мохнатой. По такой крутизне, что просто удивительно, как держались на склоне гигантские ели, корни которых не углублялись в землю, а распластывались по её поверхности.

Вечнозелёная, царственная макушка Мохнатой горы, окружённая короной снежных пиков, и вершинная ель очаровали Ингу.

– Так красиво, аж страшно.

– Отчего это страшно, когда красиво? – не поняла Александра.

– За очень красивым всегда скрывается опасность.

– Ой, не сочиняй.

Мы с Тимуром, с усилием раздвинув ветви вершинной ели, пригласили девчонок внутрь шатра.

– Сколько же ей лет? – спросила Инга, впечатлённая толщиной ствола.

– Пятьсот. Не меньше, – прикинул на глазок Тимур. – А может быть, и больше.

– Так уж и пятьсот, – фыркнула Александра, недоверчивая горная кентаврица.

– Легко проверить, – отвечал слегка оскорблённый Тимур, – давайте спилим и подсчитаем годовые кольца. За одним и высоту измерим. У живого дерева в лесу высоту трудно измерить. Думаю, метров пятьдесят. Не меньше. А может быть, и больше.

– Просто секвойя! – восхитилась Инга. – Интересно, она ещё растёт?

– Живая, значит, растёт.

– И долго расти будет?

– Нас переживёт точно, – с покровительством хозяина здешних предгорий похлопал Тимур ствол. – Условия идеальные. В самой середине хвойного пояса. Гора спрятана за четырёхтысячниками. Здесь никогда не бывает ветров. Представьте себе тысячу лет безветренной погоды.

Инга представила:

– Хотела бы я вот так же стоять тысячу лет на вершине и смотреть на эти горы. Чудо, а не ель!

– Тоже мне чудо, – фыркнула Александра. – Ель как ель. Только большая.

– Сомневаюсь, что мы и вчетвером её обхватим, – сказал Тимур.

– Зачем её обхватывать? Вот я ещё в смоле не пачкалась, – встала на дыбы строптивая Александра.

Девушка тяжёлого поведения.

Внутри живой и всё ещё растущей юрты пахло грибами. Мягкая, многовековая подстилка из хвои пружинила под ногами. Тимур оседлал корень и, постепенно переходя на шёпот, поведал о свойстве вершинной ели транслировать энергию космоса.

Вчетвером мы едва обхватили ствол. Плотно прижавшись к шершавой коре, мы изо всех сил вытягивали руки, едва соприкасаясь пальцами.

Обряд этот поначалу рассмешил Ингу. Особенно требование Тимура снять обувь.

Заразительный смех её переходил по кольцу рук, размыкая цепь, от неё ко мне, от меня к Александре.

Но Тимур оставался серьёзным и сердился на нас.

Постепенно внутренний гул старого дерева наполнил наши тела умиротворением, гипнотическим спокойствием вечности.

Насмеявшись, Инга успокоилась и затихла.

Мы стояли в оцепенении, приятном состоянии полудрёмы, а по кольцу наших рук кружился вихрь пленённого времени. Убийственная стрела времени больше не мчалась из прошлого в будущее. Наступило бессмертие.

Не могу сказать за других, но я чувствовал это единение с вечной елью.

Просто стал деревом, пять веков растущим на вершине, которая каждый год сама подрастала на пять миллиметров и время от времени сотрясалась от подземных толчков.

Гигантским деревом на макушке растущей горы.

Дерево за пятьсот лет выросло на пятьдесят метров, а гора – на два с половиной.

Вековой дремотный гул.

Густые, горькие соки земли проникали в кровь, изменяли сознание.

– Александра, не расцепляй рук, – пробормотала ель голосом Тимура.

Мы теснее прижались к стволу и слились с деревом и друг другом в одно растительно-животное существо. И чем дольше стояли, тем сильнее было чувство симбиоза – с деревом, планетой, мирозданием.

Возможно, это были лучшие минуты моей жизни.

– Чувствуете, чувствуете, как вас наполняет вечная энергия космоса, – продолжала бормотать ель голосом Тимура. – Все мы из звёздной пыли. Возвращаемся на родину.

Инга застонала в истоме.

Александра же трезвым голосом человека, который боится розыгрыша, спросила:

– Вы правда что-то чувствуете?

– А ты разве не чувствуешь тонкие вибрации?

– Врёте вы все. Ничего я не чувствую. Стою, как дура, и обнимаю дерево.

Стрела времени вырвалась из замкнутого круга рук и помчалась дальше по необратимо прямолинейной траектории крушить всё, что попадаете по пути.

– Может быть, ты и не дура, Александра, – сказал Тимур с долей сомнения. – Может быть, ты единственный нормальный среди нас человек. Там, внизу, в копоти и гари живёт более миллиона нормальных людей, которые ни за что не поднимутся в горы лишь для того, чтобы обнять ель. Мы с Пашей точно ненормальные. Мы горозависимые. Есть в этом воздухе что-то наркотическое. Какой нормальный человек может испытывать удовольствие, часами тащась по нудному тягуну?

– С чего это я нормальная? – обиделась Александра. – Мне как раз нравится тащиться по тягуну. Между прочим, здесь должны расти рыжики. Чувствуете запахи?

И мы, обувшись, пошли искать рыжики.

В рыжиках был смысл. Особенно в жареных, солёных и маринованных. Это тебе не тонкие вибрации.

В поисках грибов Инга и наткнулась на лесного дракона.

– Какая мерзость! Мне нравится! – завизжала она во всё небо.

Это была жестоко изувеченная ель.

Переломы срослись, но нижняя часть калеки выглядела головой дракона: зловещая вытянутая морда, дупло глаза, оскаленный расщеп пасти.

Из носа рогом торчал высохший сук.

Из макушки самостоятельной елью проросла лохматая молодая ветвь.

Шея дракона покрыта зелёной шерстью мха и пятнами лишайника.

Жизнь уроды была трудна.

Судя по тёмному обугленному дуплу, в него ударила молния.

Ствол густо покрыт стигматами, из которых сочилась густая сукровица, но не янтарная, как у вершинной ели, а коричневая.

Дракон окружен зарослями дикой малины. Спелые ягоды краснели каплями разбрызганной крови.

– Хочу обниматься с драконом! – визжала Инга. – Вот капище так капище! А ваша ель слишком правильная для волхования.

Тимур оскорбился: наша ель не просто самая толстая, но самая высокая, самая древняя и самая правильная из всех вершинных елей Заилийского Алатау. Ещё неизвестно, какую энергию передаёт этот урод. Вполне возможно, тёмную. Лично он поостерёгся бы обниматься с кем попало.

Но он оказался в меньшинстве. Предварительно объев малину, мы обняли истерзанную шею дракона.

Судя по толщине ствола, этот урод был ровесником вершинной ели.

Гул у дракона был с неприятным дребезжанием, надрывом. В нём чувствовался жалобный скулёж. Едва мы сцепили руки, сразу поняли: Тимур был прав – хорошая энергия, тёмная.

С изъязном.

Зря мы с ним обнимались: рыжики пропали.

Только мы спустились к домику лесника, как проезжающий мимо джип притормозил, и бородатый тип надменной наружности, опустив стекло, крикнул игриво, совершенно игнорируя нас с Тимуром:

– Садитесь, девчонки, у нас как раз два места.

Не люблю я машины в горах, не люблю.

Наши спутницы, которым мы раскрыли главную тайну гор, не дожидаясь повторного приглашения, тут же запрыгнули в джип. Нам только и осталось, что, криво улыбаясь, помахать им вслед и крикнуть на всякий случай для бородатого: как доедете, позвоните, а номер мы запомнили.

Помахали девчонки в ответ или нет, неясно. Стёкла у джипа тонированные.

– Кстати, ты взял телефон? – спросил Тимур.

– А ты?

– Ну как же так, Паша! Надо было взять. Классные девчонки. Особенно беленькая.

– Не судьба, – отвечаю. – Чёрненькая тоже ничего.

– Хорошо, что мы не открыли им самую главную тайну.

– Какую?

– Про ореховую рощу в горах.

* * *

– А что фашист? Про фашиста забыли? – спросил гривастый.

– Не забыли. Упустив девчонок, мы снова занялись охотой на фашиста.

Как-то с субботы на воскресенье траверсировали девять снежников, окружавших Мохнатую гору.

От перевала Разбитых термосов через Стол и Конус вышли к Акульему зубу, а заночевали на перемычке между Северной башней и Грозовой горой, полагая с утра устроить засаду на главенствующей высоте.

С горой не угадали.

Прождав паршивца напрасно до полудня, пошли дальше и обнаружили свежую свастику на Октябрёнке.

Закрасили. Бросились в погоню. Но след простыл.

На спуске с Лавинного пика в зоне карликового можжевельника – арчевника – нас застала вечерняя благодать.

Выцветшее золото трав, мягкие складки предгорий, пятна арчи – пёстрая шкура дремлющего барса, который смотрит, не мигая, янтарными глазами на тёплый шар родной остывающей звезды.

Планы дробятся, переходя от золотого к ржаному, синему, голубому, прозрачному.

Лучи из-под туч можно руками потрогать.

Мифическая страна смысла и покоя.

Четвёртое измерение.

Надо бежать вниз, пока не застала темнота, но в такие минуты трудно покинуть горы.

Сильно припозднились.

На верхней границе леса вся эта красота – бульк! – и утонула в ночи.

Включили мы «циклопы» – налобные фонарики – и побежали вниз, надеясь успеть на последний автобус.

Это особое удовольствие – бегать по ночным горам.

Через тёмные массы вздыбленной планеты перетекают тёмные массы воздуха – то тёплые с запахом хвои, то свежие с запахом снега. А в прыгающем пятне света виден лишь крошечный фрагмент тропы.

Планета провалилась из-под ног в абсолютную черноту, и ты бежишь в тёмной бесконечной вселенной по невидимой сетке, сплетённой из времени и пространства, проникая мимоходом в чужие измерения, и невесомость на спусках чередуется с перегрузками на подъёме.

Среди тёмных масс стали появляться и исчезать огни города, когда впереди нас, внизу, тускло замерцал большой светлячок. Но чем ближе мы подходили, тем сильнее он походил на мертвенный свет, выбивающийся из-под крышки склепа.

Подбегаем.

Инга сидит на тропе, плачет.

Над ней стоит Александра, светит фотоаппаратом, включенным на просмотр, и ругает её куриной слепотой.

– А я что говорил? – с ходу приступил к наставлениям Тимур. – Безопасных гор не бывает. Как же так, девчонки, в горы и без фонаря?

Давно нам так никто не радовался.

– Ой, мальчики, как хорошо, что мы вас встретили! – кинулась обниматься Александра. – Мы уже и мобильники посадили, и у фотоаппарата зарядка кончается. Да еще эта курица ногу подвернула. Не реви! Чего ревёшь?

– Пусть ревьёт, – разрешил Тимур, – легче нести будет.

Осмотрели мы ногу. Ничего страшного. Голеностоп растянула. Травма вполне совместимая с жизнью.

Наложили тугую повязку.

– Ну что, Козлов, давно под седлом не ходил? – спрашивает Тимур.

Взял у меня рюкзак и повесил себе впереди, как запасной парашют.

Усадил я Ингу себе на спину, подхватил под коленки, она меня за шею обняла – и пошли мы потихоньку вниз. Впереди Тимур с двумя рюкзаками, за ним Александра, а за ней Инга верхом на мне.

– Как нам повезло, как нам повезло, – повторяет Александра.

А я думаю: если кому и повезло, то мне.

Но молчу.

Тимур говорит:

– Давайте, девчонки, договоримся: захотите в горы сходить – звоните.

– Я вообще в ваши дурацкие горы больше не пойду, – отвечает Инга.

И с такой обидой, да так громко, как будто хочет, чтобы эти слова непременно слышали горы.

Вышли мы к дороге за полночь.

Автобусы не ходят.

На наше счастье, пенсионер из родника под ротондой воду в пластмассовые бутылки набирает и грузит в багажник старых «Жигулей».

– Знакомая история, – говорит, – горы требуют жертв. Пейте воду и садитесь в машину.

* * *

Купе залил бессонный свет вокзальных фонарей.

Два бархатных раскатистых голоса переругивались в ночи на производственные темы.

– Шарышаган, – сказал гривастый, – просила разбудить.

Козлов поднялся:

– Спит. Жалко будить. Схожу, куплю ей вяленого судака.

– Сколько стоим? – спросил гривастый.

– Двадцать пять по расписанию. Если из графика не выбились.

– Сейчас поезда редко опаздывают.

– Навели порядок.

– Товарняков меньше стало. Пожалуй, и я с вами. Проветрюсь.

Я задремал, но проснулся от запаха вяленой рыбы, с которым может сравниться по крепости только запах чеснока.

– ...а на Ингу горы действовали веселяще, как дымок конопли, – услышал я голос Козлова, – чем выше мы поднимались, тем смешливее и легкомысленнее она становилась. После двух тысяч начинала неудержимо смеяться.

Её смешили любые пустяки.

Особенно не смешные.

Допустим, чёрная улитка, ползущая вверх по тропе.

От высоты, как бы это сказать, у неё разыгрывалось воображение.

Грех для творческого человека извинительный.

Она придумывала своё прошлое, а когда неподкупная Александра уличала её во вранье, отмахивалась: «Если то, что было, прошло, какая разница, что там было?»

Ладно бы придумывала своё прошлое, полное встреч с необыкновенными людьми, но она посягала и на наше общее недавнее прошлое, которое мы не успевали как следует забыть.

– Помните, когда мы в тот раз ходили в Альпийскую розу, снежный барс стащил у нас рюкзак с бутербродами?

Рюкзак? С бутербродами?

– По-моему, это был тьянь-шаньский медведь. Очень бурый, – вспоминал Тимур.

– Нет, белый. Полярный, – фыркала Александра.

– Какие вы все вруны! – удивлялась Инга. – Это был именно снежный барс. Причём бесхвостый.

Ах, бесхвостый! Другое дело! Так бы сразу и сказала.

Мы соглашались с ней и с интересом слушали, что натворил в тот раз бесхвостый барс.

– Как же вы не помните? Что это за эпидемия амнезии? Тимур побежал за барсом и швырнул в него свой ботинок, а барс схватил его и убежал.

– Кого схватил?

– Ботинок.

– А рюкзак с бутербродами бросил?

– И рюкзак, и ботинок схватил и убежал.

– А как же Тимур?

– Тимура он не схватил. Тимур в пасти не уместился.

– Я имею в виду, как Тимур в одном ботинке через два перевала шёл?

– А мы ему чайник на ногу надели. Тот чайник, в котором он носок заварил.

– Пора возвращаться, – говорила в таких случаях Александра, – первые признаки горняшки.

Но Инга и на спуске веселилась вовсю.

– Козлов, – строго спрашивала она меня, – я долго ещё буду ждать, когда ты сделаешь мне предложение?

– С чего бы это? Почему я?

– Ну сделай предложение, что тебе стоит?

– Зачем?

– Я давно никому не отказывала.

– Пусть Тимур тебе делает предложение.

– Тимур? Два барда в одной семье? Перебор.

– Это не должно тебя волновать, – утешал я её, – в вашей семье не будет ни одного барда.

– Чуть подробнее, – подключался к разговору Тимур, насторожившись.

– Ну да, вы оба бренчите на гитаре и что-то задушевно лопочете о перевалах, лавинах, непокорённых пиках, эдельвейсах. А я всё это уже слышал. Нет, я не говорю о плагиате. Вы просто своими словами пересказываете уже много раз спетое. Все ваши песни – как меню в студенческой столовой: борщ, котлета, компот. Все готовят котлеты. Под какой приправой ни подавай – всё котлета. Плагиат это или не плагиат?

– Ты на него не обиделась? – спросил Тимур Ингу. – Ты на него не обижайся. Прошло то время, когда из библиотек тырили Мандельштама. Боюсь, навсегда.

Инга ответила в том смысле, что она уже довольно взрослая – на недоумков давно не обижается. И попыталась придать лицу выражение оскорбительного безразличия.

– Я бы обиделся, не будь Козлов таким дубом и в поэзии, и в музыке, – надулся Тимур и тяжело вздохнул. – По-моему, он безнадежен.

– Почему дубом? Почему не карагачем или барбарисом тянь-шаньским? – удивился я избитому сравнению, но тут же пошел на попятную: – Я пошутил. Вы гении. Тимур, ты будешь делать Инге предложение?

– Что может быть хуже талантливой жены? – засомневался Тимур.

– Особенно при гениальном муже, – согласилась с ним Инга. – Нет уж, если выбирать, то я выбрала бы тебя, Козлов, человека среднего во всех отношениях.

– А сколько у нас будет детей? – спросил я, слегка оскорблённый.

– Дети? При чём здесь дети?

– Ты же не думаешь, что семьи создаются для того, чтобы петь бардовские песни? Да, дети. А потом уже всё остальное. И в последнюю очередь бардовские песни. Запомните, дорогие мои поэты, сказать «выходи за меня замуж» означает: я хочу от тебя детей, ради которых готов принести в жертву свои амбиции, таланты, всего себя. И требую того же от тебя. Женитьба – это жертвоприношение. Самопожертвование.

– Дети – наше будущее! – торжественно сказала Инга. – Какая ложь! Дети – будущее. Но не наше. Дети – наша смерть. Да, да. Правда всегда отвратительна.

– Отчего же смерть?

– Оттого, что они нас похоронят.

– Как современно!

– Современно, Козлов, это не комплимент. Это приговор. Современно – уже отстой. Надо говорить – вечная истина.

– Вечного ничего не бывает.

– А я что говорю? Правда всегда отвратительна. Знаешь что, Козлов, не делай мне предложения.

– И не собирался. Тимур, сделай Инге предложение. Заколебала.

– Я бы сделал. А вдруг она не откажет? Представляешь, какие у нас будут дети? Хрупкие и изящные, как осенние сыроежки. Я бы сделал предложение Александре. У неё будут крепкие, жизнеспособные дети. А потом – любовь. Должна быть любовь.

Александра, не отрывая глаз от тропы, фыркнула.

И тут я понял, что этот опасный треп затеян не ради меня или Александры. До меня дошло, что Тимур и Инга, используя нас как щиты, выясняют отношения между собой.

– Какая чепуха! – рассердилась Инга. – Женятся и выходят замуж не потому, что кто-то кого-то полюбил. Просто время пришло. «Девушка созрела». Свадьба – одно из самых печальных событий. Печальнее похорон.

Александра снова фыркнула.

А Тимур сказал:

– Александра, ты выйдешь за меня замуж?

Она споткнулась и, оглянувшись, сердито ответила:

– Две тысячи триста пятьдесят шесть. Не мешай. Я шаги считаю.

И потопала дальше.

В горах, как вы знаете, расстояние измеряется в часах и минутах. Да, да! Пространство измеряется временем. Эйнштейну бы это понравилось.

Но Александре, девушке серьёзной и несколько прямолинейной, подобные парадоксы были не по душе. Она не желала измерять расстояние в часах и минутах.

В горах Александра измеряла расстояние в шагах.

Она точно знала, сколько шагов от конечной остановки до домика лесника, а от лесника – до развилки, где два ручья сливаются в одну речку, а от развилки до сухой сосны. А шаги очень легко можно перевести в метры.

Александра не терпела парадоксов, приблизительных истин, метафор и намёков.

Расстояние должно измеряться в метрах. Точка.

При всей своей угловатости и грубоватой наивности суждений, это был человек надёжный, добрый и совершенно зелёный.

В экологическом смысле.

Впрочем, не только.

Увидела как-то на тротуаре выплунутую кем-то жвачку. Остановилась, сердито ворча. Подцепила палочкой и выбросила в урну.

– Александра, зачем ты это сделала?

– Птичка увидит, склюет и подавится.

Подобные истории очень забавляли Тимура, который избрал Александру мишенью для острот. Но, знаете, шутить над людьми наивными и прямолинейными опасно. Не заметишь, как сам попадёшь в дурацкое положение.

Однажды, встав на колено, он протянул ей эдельвейс.

– Зачем ты его сорвал? – напустилась на него Александра.

– В томик стихов положишь. Засушишь. Будешь зимой вспоминать сегодняшний день.

– Кому придёт охота любоваться эдельвейсами, пусть дождётся августа и поднимется до высоты эдельвейсов. Только дурам нравятся мёртвые цветы.

– Так принято, – сказал Тимур, поднимаясь и отряхивая колени, – девушкам дарят цветы.

– А ты знаешь, что такое цветы? – сердито спросила Александра.

– Цветы – это цветы.

– Цветы – это половые органы растений, – просветила его Александра. – Надо быть извращенцем, чтобы дарить их девушкам.

Действительно, странный обычай на нашей планете – дарить женщинам половые органы растений.

* * *

– Появляются женщины – и конец мужской дружбе, – печально вздохнув, сказал гривастый, – начинаются всякие треугольники и прочая геометрия.

– У нас не треугольник. У нас квадрат получился, – отвечал Козлов.

Подумал и добавил:

– Скорее, круг. Там ведь вообще концов не найдешь. А время было замечательное. Два года мы ходили к вершинной ели.

– И в плохую погоду тоже?

– В горах плохой погоды не бывает. В дождь под целлофановую накидку спрячешься – идёшь, просвечиваешься, как медуза. А зимние горы я даже больше люблю. Пробиваешь тропу в пухляке, пыхтишь, словно по крутому завитку облака карабкаешься. Остановишься, а гора летит.

Куда бы мы ни шли, а возвращались всегда через Мохнатую.

Самой заядлой язычницей стала Александра. Она в конце концов почувствовала тонкие вибрации и, будучи девушкой постоянной в привычках, не позволяла нам обходить капище стороной.

Как там пел Тимур? Тут важно мелодию вспомнить. Вспомнишь мелодию – вспомнишь и слова. Но у меня слуха нет. В прозе это звучит приблизительно так:

...мы обнимаем тебя, большая вершинная ель, и всё разрушающая стрела времени, с тупой непреклонностью летящая из тьмы прошлого в ещё более тёмное будущее, попадает в кольцо наших сплетённых рук и бешено вращается, оставаясь на месте.

...наступает бессмертие. Прекращаются необратимые процессы энтропии. По зелёному конусу, хвойному наконечнику вершинной ели, по её смоляному стволу стекает весёлая и горькая энергия вечности, наполняя наши тела пьянящим гулом истины, которую невозможно передать словами.

...мы клянемся хранить тебя и твою тайну, вершинная ель, дерево-храм. Крепче сцепим пальцы, не дадим вырваться стреле времени из кольца наших рук, не позволим ей продолжить убийственный, необратимый полёт.

Что-то вроде этого.

Замечательная песня.

Гимн.

Сочинили они её вдвоем – Тимур и Инга.

Но из двух всегда кто-то ведущий, а кто-то ведомый.

Тимур всегда и во всём был лидером.

Главный хранитель вершинной ели.

В этой песне был ещё припев:

...мы будем жить, пока стоишь ты. Живи вечно, дерево-храм.

Как-то так.

Да, замечательное время. Сумасшедшее время.

Мы с Тимуром были в пике силы, и девчонки – в пике красоты.

Обольстительной красоты.

И когда мы четвером обнимали вершинную ель, дух захватывало от восторга.

Нам казалось, мы всегда будем молодыми, сильными, красивыми. Мерещилось лёгкое и великое будущее, где всё удаётся с первого раза и все тебе рады. Нам казалось – мы избранные. А отношения наши необыкновенны. В это опасное заблуждение, а может быть, искушение вводила нас наша глупая молодость, с её избыточным здоровьем и беспричинным весельем. Нас просто опьянял наркотический воздух гор. Мы были уверены, что предназначены совсем для другой жизни, чем те, кто копошится внизу под табачным облаком городского смога.

Не знаю, что тому было причиной: обычное самомнение возраста или горы воспитали привычку на всё смотреть сверху вниз.

Обычно мы перезванивались накануне, уточняя время встречи на автобусной остановке. Но ни разу вылазки в горы не отменялись. Такие пустяки, как дождь с переходом в снег и снег с переходом в дождь, насморк, неотложные дела, во внимание не принимались.

Но в один день всё пошло наперекосяк.

Звоню Тимуру, а он впервые за много лет отнекивается: «Не могу, старик. Сходи один. Дела».

Что-то в его голосе мне не понравилось. Какая-то в его голосе была фальшь.

Что за дела? Что может быть важнее гор?

Не ожидал он от меня такого любопытства. Не подготовился. Замялся.

Какие дела? Ну, как тебе сказать? Кое с кем нужно встретиться. Кое-какие вопросы порешать. Кроме гор, знаешь, у меня есть и другие интересы.

Что-то обидное было в этом сокрытии. Даже предательское. Какие тайны от тебя могут быть у человека, с которым ты десять лет ходишь в горы?

– Какой-то ты сегодня неискренний, – говорю. – А девчонки пойдут?

Он помолчал и сухо ответил:

– Откуда мне знать? Позвони, спроси.

– Нужен буду, сами позвонят, – отвечаю.

И стал ждать звонка. Долго ждал. Минут пять.

Набрал Ингин номер.

Очень меня удивили её интонации. Совершенно тимуровские.

У неё тоже неотложные дела. А когда я спросил, какие, она отвечала с досадой: с чего ты решил, что я обязана перед тобой исповедоваться? Мои дела – это мои дела.

– А как же вершинная ель?

– Сходите с Александрой.

– А смысл? Вдвоем мы её не обхватим.

Короче говоря, с этого дня наш квартет распался. Мы больше не ходили к вершинной ели.

Месяца два спустя встретил я Ингу на местном Арбате.

Вся в чёрном. Наполеоновская полушинелька в талию. Брючки-чулки. На шпильке нанизан золотой лист клёна.

Дождь моросит.

Идёт без зонта. Руки в карманах, смотрит под ноги.

Догнал, раскрыл над ней зонт:

– Привет. Что такая смурная? Давно никому не отказывала? Выходи за меня замуж.

Она усмехнулась и, не взглянув на меня, ответила:

– А ты возьмешь женщину с ребёнком?

– Сын? Дочь?

– Какая разница?

– Большая. Я всё-таки родился на Востоке. С сыном возьму без базара. С дочерью подумаю. Подумаю, подумаю – и возьму. Есть ещё вариант – и сын, и дочь...

– Не паясничай, пожалуйста, – прервала она меня.

И показалось мне, что она не шутила.

Вся такая маленькая, хрупкая, вся в чёрном. Шею в плечи прячет. Поёживается.

А на мостовой бездомный щенок играет бумажным стаканчиком. Такой забавный, беззаботный. Играет и не знает, что никому не нужен. Что через месяц зима. А мимо, по мокрой листве – ноги, ноги, ноги.

И вдруг этот ничейный, никому не нужный, беспородный щенок поднимает голову и смотрит тебе в глаза.

Пощёчину легче пережить.

– У тебя есть пакет? – спрашивает Инга.

– Зачем тебе пакет?

– Грязный он. В троллейбусе всех перепачкает.

Сбегал я за пакетом.

Запихали в пакет щенка. Идём на остановку.

– А что же папаша?

Она усмехнулась:

– Папаша не хочет терять свободу. Пока.

– Пока. Мое предложение в силе.

Наказала она назвать щенка Черчиллем, воспитать из него достойного члена общества. И троллейбус укатил.

Вычислить папашу труда не составило.

– Тимур, – спрашиваю, – как давно тебе били морду?

Он задумался. Стал пальцы загибать и на потолок смотреть.

– В последний раз в десятом классе.

– Давно, – говорю. – А какое сегодня число?

– Девятое ноября.

– Ты знаешь, у меня такое предчувствие, что тебе сегодня снова набьют морду.

Посмотрел он на меня проникновенно и спрашивает:

– Ты когда-нибудь кого-нибудь сватал?

– Нет.

– Завтра пойдем сватать Ингу. Будешь моим доверенным лицом.

Просить руки Инги Тимур пришёл в смокинге. Фалды, галстук-бабочка – всё как полагается.

На глазах непроницаемые светофильтры.

На голове – фиолетово-рыжий ирокез.

При этом был он в шортах.

И совершенно босой.

А на поводке вел роскошного петуха Эдуарда Второго.

Красавец. Красно-ржавое оперенье, золотая грива, чёрный хвост с зелёным отливом. Гребень торчит рыжим ирокезом на гордой голове.

Эдуард Второй выступал походкой балетного танцора, выходящего на поклон, и нагло смотрел на папу невесты одним глазом.

– Гвардеец! – оценил папа петуха. – Вы с ним похожи.

Тимур сдержанно поклонился, благодаря за комплимент, а папа – полковник, между прочим, хотя и в отставке, – спросил:

– Молодой человек, а почему на вас нет обуви?

– Полезно для здоровья, – отвечал Тимур, закидывая ногу на ногу и демонстрируя коричневую потрескавшуюся пятку.

– Ходить по заплёванным тротуарам полезно для здоровья? – удивился папа, внимательно рассматривая пятку. – А для чего вам петух?

– Это петух-поводырь, – объяснил Тимур предназначение Эдуарда Второго.

– Так вы слепы?

– Не то что бы совсем. Слабовидящий, – отвечал Тимур со смирением и достоинством.

– А вы не пробовали снять тёмные очки? – посоветовал папа.

Жених поблагодарил за сочувствие и протянул папе подарок. Альбом «Капричос» – «серию офортов на причудливые сюжеты, сочинённых и гравированных доном Франсиско Гойя».

Тот, кто листал альбом, знает, что содержит он критику человеческих пороков и заблуждений. Довольно отвратительных.

Добавлю от себя, альбом был с библиотечным штампом.

Папа листал альбом и морщился.

Инга сказала:

– Это он специально клоуном прикидывается, чтобы вы, драгоценные родители, отказали в руке дочери вашей.

– Ему это удалось, – одобрительно покосился на Тимура папа, – но если он не пишет стихи, я согласен.

– Я пишу стихи, – повинился Тимур, склонив голову.

– Вот видите, видите! – сказала Инга, торжествуя.

Мама, разливая по чашкам чай, спросила:

– Скажите, а чем занимаются ваши родители?

– Папа – директор завода сантехнического оборудования, а мама – зубной врач, – ответила за Тимура Инга. – В отличие от своего сына вполне приличные люди.

– Но по вечерам они пишут стихи, – добавил от себя Тимур.

– А кто вам сделал прическу? – спросила мама.

– Я, – сказала Инга.

Мама вздохнула и грустно сказала мрачному папе:

– Молодые всегда правы. Особенно когда не правы.

– И как вы собираетесь строить семейную жизнь? – спросил с большим сомнением, переходящим в иронию, папа – полковник запаса.

– А с чего вы решили, что я жених? – удивился Тимур. – Я сват. А жених – вот он.

И ткнул, подлец, пальцем в мою сторону.

Больше всех этому пальцу удивился я.

– А впрочем, – поспешно добавил Тимур, – пусть она выбирает, кто из нас жених, а кто сват.

Такой поворот изумил всех. Особенно Ингу. Сняв тапок, она швырнула его в Тимура.

Но попала в меня.

Папе я понравился больше, потому что пришел в обуви, без особых нарушений формы одежды, а на голове моей не было ирокеза. К тому же я молчал и сидел прямо.

Даже когда в меня угодил тапок.

Единственное, что смущало папу-полковника, – моя дружба с субъектом, который ходит по осеннему городу босиком и с петухом на верёвочке.

Маме мы не понравились оба.

Мамы всегда правы. Даже когда не правы.

Тапок, пролетевший над столом, переполюшил петуха, прервал чайную церемонию и обряд сватовства.

Мы встали, чинно раскланялись и покинули гостеприимный дом.

Уходя, я услышал слова полковника запаса:

– Слишком много среди молодых развелось шутов. Я начинаю беспокоиться за судьбу страны.

И как в воду глядел.

Мы сидели в сквере на скамейке. Тимур кормил Эдуарда Второго жареными семечками, а я просто так сидел, нечеловеческим усилием воли сдерживая желание дать моему дорогому другу по шее.

– Я спрашиваю себя, что меня связывает с этим придурком? И не нахожу ответа, – говорю Тимуру.

– Как что связывает? Помнишь, через трубу под дорогой в чужой сад за яблоками лазали? В хоре вместе пели. «Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца...» Хорошая песня была. Патриотическая. Таких больше не поют.

Патриотическая. Только пел её Тимур с серьёзным выражением лица так: «Тебя называли козлёнком в отряде, враги называли козлом...»

Козлов – моя фамилия.

Я его плечом толкаю, а учитель пения, яростно дирижируя, делает мне страшные глаза.

А «Каховку» – ангельское личико, сама невинность – Тимур пел так: «...Содом и Гоморра – этапы большого пути».

– Деригора, ты когда-нибудь станешь серьёзным?

– Думаешь, у человека с такой фамилией это получится? – засомневался Тимур. – Ты знаешь, мне дедушка завещал ко всему относиться с юмором. Не могу же я нарушить волю покойного.

– С юмором! Он же не завещал тебе быть придурком.

– Дед у меня был серьёзным, – ударился в воспоминания Тимур. – Это его и погубило. И себе жизнь испортил, и детям.

Мой дед был учёным-обществоведом. Праведным коммунистом. Верил в идею всеобщего братства.

С этой идеей его и похоронили.

Всё у него было замечательно. Защитил кандидатскую, писал докторскую. Уехал в город Москву и три месяца работал в закрытых архивах.

Вернулся мрачным, немым. Ушел из науки в дворники. Партбилет сдал.

Ты знаешь, что такое в то время было сдать партбилет?

Парторг ему: «Деригора, не сходи с ума». А дед: «Я выхожу из партии, чтобы остаться коммунистом».

Что он там, в архивах, раскопал?

Что-нибудь о 37-м годе.

Не он один знал. Но никто не портил себе жизнь. Был бы он сволочью, накрапал бы свою диссертацию, получил бы степень, стал бы профессором, а уж во времена перестройки, пожалуйста, жги свой партбилет перед телекамерами, тискай статейки в сборник «Иного не дано».

Без юмора был дед. На свою беду был честным человеком и серьёзным учёным.

А что такое наука, Козлов?

Поиск истины.

Дед понял, что истину ему сказать не дадут.

Какой тогда смысл заниматься наукой?

Дед и отцу, слава богу, карьере испортил. Отец мой хотел в философы податься. Дед рассоветовал. Есть у нас в городе прекрасный институт, где готовят кадры для завода сантехнического оборудования. Высокое призвание, большая честь – делать унитазы для человечества. Всегда востребованы честность и серьёзный подход к делу...

– Ну, сдал твой дед партбилет. А Инга-то при чём? Что теперь делать будем?

– Как что? Пойдём сватать Александру.

– Иди. Без меня. С Эдуардом Вторым.

– Думаешь, она согласится выйти замуж за Эдуарда Второго?

Короче, подурачились мы, подурачились и отпраздновали две свадьбы в один день за одним столом.

И весело, и экономно.

Чудили, как могли.

Тимур предлагал невестами на брудершафт обменяться.

Свадебный вальс пытались танцевать вчетвером.

Это невозможно – танцевать вальс вчетвером, хороводом.

Но у нас получилось.

А на следующий день с бутылкой шампанского поднялись мы к вершинной ели...

Козлов умолк.

Долгую паузу заполнил убаюкивающий перестук колес.

Колыбельная песня командированных.

Полагая, что история завершилась счастливым финалом, я растворился в приятной дрёме.

* * *

Разбудила меня гнетущая неподвижность.

Поезд стоял в ночной степи.

Под чужими звёздами.

На другой планете.

Козлов, между тем, продолжал рассказ, большую часть которого я проспал.

– ...позвонила Инга в одиннадцатом часу.

– Привет. Позови Александру.

– Нет ее. С девчонками с работы на Иссык-Куль укатила.

– Опять одну отпустил?

– Девичник у них. Ты знаешь, как я отношусь к пляжному лежанию. Да и за детьми, за Черчиллем кому-то надо присмотреть. А я в отпуске. Мне всё равно делать нечего.

– Смотри, доотпускаешься. А Тимур в горы ушёл. Я вся изволновалась.

– Компанию бы составила.

– С моим животом только в горы ходить. Рюкзак сзади, рюкзак спереди.

– Не волнуйся. Нагуляется, придёт. Что волноваться?

– Как не волноваться? Ураган.

– Какой ураган?

– Ты что, телевизор не смотришь?

– Не имею такой вредной привычки. Не пью, не курю и газет не читаю.

– Включи телевизор. В нашем ущелье все ели повалило. Как косой скосило.

– Не преувеличивай. В нашем ущелье тысячу лет ветров не было.

– Включи телевизор. Городской канал.

Включил.

Камера, установленная на вертолёте, сканировала северный склон Лавинной горы. Поваленные ели действительно похожи на траву, но не на скошенную. Грубо вырванные с корнем и разбросанные как попало сорняки – вот на что это было похоже. Одинокие, ободранные стволы торчали из этого кошмара жалкими хлыстиками.

– Тимур сказал, куда пойдет?

– Нет. Сказал: хоть выплюсь раз в жизни по-человечески. Передавали: парня нашли. Ель на его палатку упала. А ты говоришь, не волнуйся.

– Когда ураган прошёл?

– Три дня назад.

– А что молчала?

– Спасателей обзванивала, морги.

– Если бы что случилось, его бы давно обнаружили с вертолёта. Скорее всего, он не в наше ущелье ушёл, – попытался успокоить я Ингу, сам начиная волноваться.

– Сходи к нашей ёлке, – попросила она. – Сон мне нехороший приснился. Мёртвый человек в горах. Весь запорошен снегом. Представляешь? Просто

сугроб в форме человека. Хочу снег с лица смахнуть, а сама пошевелиться не могу. Вдруг у него белые веки поднимаются, и смотрит на меня мертвец из снега Тимуровыми глазами. Зелёными. Насмешливыми. Я смахнула снег с лица, а он весь в белую пыль рассыпался.

– Ты этот сон на песню переложи, – посоветовал я, стараясь придать голосу лёгкость.

– Какие песни? Дети, пелёнки. Я гитару лет пять в руках не держала.

– С утра своих отведу к родителям и прогуляюсь по старым местам, – пообещал я, – а ты не изводи себя. Тебе сейчас вредно волноваться.

– Приводи ко мне своих козлят.

– Договорились.

Успокоив Ингу, я заволновался.

Хотел позвонить подруге Александры и даже набрал номер, но тут же опустил трубку. Звонить после девяти всё равно, что стены по ночам долбить. А шёл уже двенадцатый.

Следующий день был рабочим. Но на работу я не пошёл. Дорогу в горы расчистили не до конца, и временами автобус объезжал поваленные на асфальт деревья. Визжали пилы. Повсюду, начиная с автобусной остановки, были понатыканы предупреждающие и запрещающие таблички: «Уважаемые алмаатинцы и гости нашего города! В связи с ураганом и прошедшими ливнями возникла угроза оползней. Просим вас не подвергать ваши жизни опасности и воздержаться от походов в горы».

Короче, осторожно – горы закрываются.

Запреты и предупреждения – лучшая реклама.

Алмаатинцы, даже те, кто никогда не ходил в горы, а особенно гости южной столицы с видеокамерами и «мыльницами» толпами валили в ущелье запечатлеть ярость стихии.

У кого-то вид потрёпанных, словно переживших ковровое бомбометание, предгорий вызывал ужас, переходящий в восхищение. У меня же – отчаяние и омерзение, как следы стригущего лишая на любимой собаке. Я вообще не понимаю людей, которые любят руины древних храмов.

Обойдя посты, я пробирался по забаррикадированной упавшими елями тропе, не узнавая знакомых гор.

Жутковатая красота склонов, усеянных гигантскими стволами, словно трупами на крепостном валу, вызывала тоску и досаду.

Но в голову приходила и более страшная аналогия, связанная с детскими впечатлениями от серой тоски посленовогодних дней. Казалось, со всего мира собрали новогодние ёлки, сняли с них украшения и выбросили вон, ненужные и изломанные. Облезлые. Громадная гора из наваленных друг на друга ёлок.

Я думал о всеразрушающей стреле времени из песни Тимура и Инги. Её необратимость вызывала отчаяние.

Праздник кончился. Навсегда. Никогда эти предгорья не будут такими, как до урагана.

По тропе до меня уже прошли спасатели. В густых кронах елей были прорублены и пропилены проходы. Можно было, не обдираясь о ветки, перелезть через стволы или поднырнуть под них. Где-то от старой безнадежно заваленной тропы в обход бурелома отделялась свежая, едва угадываемая тропинка.

Путь до перевала, несмотря на завалы, показался значительно короче, чем прежде.

Всё дело в пустотах, образовавшихся на месте сумрачных гигантов.

Пустота скрадывает расстояние. Но как это действует на психику!

Добравшись до перевала, я пошёл по гребню хребта к вершине Мохнатой.

От Мохнатой осталось одно название. Её следовало бы переименовать в Плесивую. Но горы переименовывать нельзя. Впрочем, не у нас.

После урагана до меня здесь никто не ходил. Да и вряд ли у кого-то без особой необходимости возникнет такое желание.

Я сказал – пошёл?

Пополз.

Пополз, как муравей, по сплошному завалу гигантских тянь-шаньских елей со стволами в два и три обхвата с топорщащимися во все стороны ветвями и торчащими к небу корнями.

Нескончаемый косматый ужас.

Этим деревьям предстояло гнить столетие, пока не превратятся в труху.

Душа моя, воспитанная вечной красотой предгорий, была уязвлена мерзостью разрушений.

На месте циклопических елей, прекрасных, как древние мифы, склоны зияли клочковатой, отвратительной пустотой мусорной свалки.

Под осенними дождями, не скреплённые сетью корней, они могут поплыть. Непременно поплывут.

Исчезла тайна.

Исчезла поэзия бардовских песен, написанных здесь.

Исчезло прошлое. Прекрасное прошлое.

Открылся безобразный провал. Скучная, искорёженная пустота. Голые, ободранные, как куриные тушки, предгорья.

Мерзость умирающей планеты, которая со временем превратится в безжизненный, необитаемый Марс.

Без надежд на возрождение.

Стрела времени никогда не полетит вспять.

Нескончаемое протискивание сквозь частокол упругих, временами переплетающихся ветвей, карабканье по стволам отвлекали меня от этого кошмара, но вымотали до предела. Я присел передохнуть, оседлав ствол у корня, в тени впусченного пласта земли.

Где-то здесь профессор Маринадский и встретил снежного человека.

Старик мог встретить его только здесь. Ниже было слишкомлюдно. А выше со своим бадиком и подагрой он подняться не мог.

Я хорошо знаю этого снежного человека.

Теперь, когда чудака учёного нет в живых, должен сознаться, что снежным человеком, которого встретил профессор Маринадский, был я.

Профессор написал о моих повадках и образе жизни большую книгу.

Удивительно, как, выдуманнные нами, легенды и мифы начинают жить собственной жизнью.

Мы с Тимуром, два балбеса, жестоко разыграли старика, навсегда подорвав его репутацию в учёном мире.

Простите, профессор, мы больше не будем.

Но стрела времени никогда не полетит опереньем вперёд.

Ничего исправить нельзя.

Я медленно продирался по телам тянь-шаньских елей, как по трупам солдат в зелёных шинелях, сваленных перекрёстным огнем. Вывороченные пласты земли на торчащих корнях казались подошвами ботинок с налипшей и засохшей грязью. Ещё они были похожи на ржавые шляпки гигантских гвоздей. Забыв о времени, я карабкался по наваленным крест-накрест стволам, лавировал между упругих ветвей, сдирающих с меня рюкзак и обсыпающих колючим дождём хвои, которая проникала под пропитанную потом одежду. В неподвижном, душном воздухе стояла сухая плесень грибницы.

Раздражающая жаркая прель.

Чем выше поднимался я по этому кладбищу деревьев, тем сильнее чувствовал себя частью хаоса. Состояние, похожее на драку, когда от ярости и озлобления не замечаешь ударов и ссадин, когда разум отключается и действуют лишь первобытные инстинкты.

Гора, заваленная деревьями с неосыпавшейся хвоей, казалась мне недавно убитым, грузно обмякшим животным, плоть которого была на начальной стадии разложения. Я чувствовал запах трупа, который ещё не остыл, но первые признаки тления уже проявились.

Меня слегка подташнивало.

Особенно неприятны были вывернутые корнями плоские пласты земли. Было в этой рваной, вздыбленной почве что-то апокалипсическое.

Безнадежное.

Битва закончена. И победили силы зла.

Корни тянь-шаньских елей не углубляются в землю, этой почвы мало на скальном основании. Корни змеями расползаются от ствола по склону. Деревья, собственно, стоят на лучах корней, лишь слегка припорошенных скудным гумусом и хвоей.

Порыву ветра легко было опрокинуть сорокаметровые матчи с парусами из хвои.

Я представлял, какой ад творился здесь в ночь урагана. Вой, оглушающий шорох ветра, треск лопающихся корней, скрип, стоны, удары стволов о землю и друг о друга. Звуки вспучивающейся почвы. Стволы переламываются с хрустом.

Расщепы обломленных деревьев, корни которых выдержали напор воздушных масс, были ужасны. Разлохмаченные пни в два-три обхвата будто взорваны изнутри.

Редкие ели, устоявшие под ураганом, – с ободранными ветвями, обломанными вершинами – торчали над павшими собратьями жалкими крысиными хвостами.

Калеки стыдились, что остались жить.

Пройдёт каких-нибудь сто лет, и эти израненные уродцы будут выглядеть искалеченными великанами, патриархами среди молодой поросли, поднявшейся из-под бурелома.

Но не верилось, что когда-нибудь на этом кладбище поднимется новая жизнь.

Я пробирался сквозь душный бурелом под сухим дождём хвои, чувствуя себя блохой в шерсти мёртвого волкодава. Скудная почва была взломана, содрана,

выворочена корнями до растрескавшегося скального основания. Всё изменилось в ущелье. Навсегда.

И всё изменилось в мире.

Это была другая планета.

Но больше всего меня угнетало то, что и я был другим человеком. Прежний я остался на той планете, куда нет возврата, в мире, где росли в вечном покое поверженные ныне великаны.

Я надеялся, что наша вершинная ель устояла.

Она была слишком большой и слишком старой, чтобы рухнуть в одночасье после пяти столетий царствования.

Очень хотелось увидеть: вечнозеленый конус антенны на вершине Мохнатой горы всё так же направлен в вечность.

Продираясь к ней по трупам деревьев, я вспоминал: мы – молодые, сильные, глупые – обхватываем её ствол кольцом в четыре пары рук.

Ноги наши босы.

Души открыты.

Стоим, закрыв глаза, переплетая пальцы, плотно прижимаясь к тёплой коре, и гул вечной ели тонкими вибрациями проникает в нашу кровь горьким золотом янтарной смолы.

На четверых у нас одна кровеносная система.

Спустившись в город, мы всю неделю чувствовали терпкое золото вечной ели в нашей общей крови.

Ураган не просто повалил большие деревья. Он грубо стёр, соскоблил со склонов наше прошлое. Всё, всё было сметено, изломано, вспорото, выворочено наизнанку.

Ужасные следы проказы изуродовали Мохнатую гору, нашу сказочную страну, наш храм. Тайного лаза в четвертое измерение больше не было.

Весь в поту, в колючих хвоинках, я задышался. Почти умирал. Но не мог повернуть назад, не узнав, устояла ли вечная ель.

Ничего не бывает вечным.

Даже то, что мы называем вечностью.

Вечность – слово, за которым нет смысла.

Вершина была пуста.

Безобразно пуста.

Эта пустота производила впечатление насильственной ампутации.

Некогда царственный затылок Мохнатой горы был неряшливо лыс, растрёпан.

Его всё так же окружала корона снежников.

Но теперь эти пики выглядели холодными и безжизненными. В них не было больше чистоты, а только холод, один холод.

Вечная ель, простоявшая невесть сколько столетий, была опрокинута.

На вершине дыбился коростой плоский пласт земли с вкраплениями растрескавшихся камней. Он казался вывернутым ветром зонтом с радиально расходящимися корнями-спицами и был пугающе огромен.

Этим зонтом можно было накрыть деревенский дом.

Я сбросил рюкзак, снял солдатскую панаму и долго стоял, не решаясь заглянуть за пласт земли, скрывающий ствол вершинной ели.

И долго не мог понять, что меня останавливало.

Запах. Не сильный, но безнадежный запах тления, разложения. Мертвечины.

Прикрыв солдатской панамой нос, я подошёл поближе к земляной завесе и, собравшись с силами, заглянул за её край.

Когда ты стоишь у ствола живого дерева и, задрав голову, смотришь вверх, невозможно точно определить его высоту.

Увидеть, насколько громадно дерево, и измерить его можно лишь по распластавшемуся по земле стволу.

Никогда прежде мне не доводилось видеть такую громадину. Диаметр ствола превосходил мой рост.

Вначале мне показалось, что трупный запах исходил от этой распластанной вниз вершиной ели. Я почти убедил себя в этом. Стоял и думал, за что Бог покарал вечную ель? За какие грехи? Кому она мешала?

Невероятно толстые ветви-брёвна торчали во все стороны, как будто вокруг ствола пророс лес молодых ёлок.

Под зелёным, разлохмаченным стогом хвои метрах в двадцати от корня я не сразу заметил зелёный тент.

Зелёный тент под зелёной хвоей вершинной ели с вертолёта не увидишь и подавно.

Это была палатка, которую я подарил Тимуру на день рождения. Десять лет тому назад. Хорошая палатка. Штурмовая. Двухместная. Полусфера. Двухслойная, противоконденсатная. Тамбур для рюкзаков и обуви. Два выхода. Дуги не из пластика. Пластик – на два-три выхода. Алюминиевые. Вечные. Если, конечно, на них не свалится ель в четыре объёма.

Если бы не запах, я мог бы какое-то время надеяться, что Тимура нет в палатке.

А если он там, то лишь ранен.

Но запах исключал все варианты, кроме одного.

Ноги мои мелко задрожали. Мохнатая гора страшно накренилась. Я сел на землю. Не мог заставить себя подойти к палатке. Сидел и думал: надо бы пробиваться к палатке с наветренной стороны. Но ветра не было, и тошнотворный запах разложения распространялся от палатки равномерно во все стороны.

Мне не хотелось подниматься и идти туда. Но всю жизнь на этой облезлой вершине не просидишь.

Продравшись сквозь ветви, я вспорол два слоя палатки ножом.

И увидел два обнажённых тела, пронзённых одним суком.

В романах и бардовских песнях могут красиво описать смерть в горах.

Не верьте.

Нет ничего более отвратительного.

Труп всегда труп.

А в горах или в квартире – какая разница?

Я знаю. Нам с Тимуром приходилось спускаться вниз то, что осталось от человека после срыва.

Изуродованное тело вместе со всем его внутренним содержанием.

В смерти нет ничего поэтического.

Правда, в тот раз мы несли тело незнакомого нам человека. И было это зимой.

Труп окоченел и не источал запах.

Я смотрел на два обнажённых трупа, проткнутых одним надломленным суком, потеряв ориентиры в пространстве и времени, как человек, сорвавшийся со стены.

Срыв. Его никогда не ждёшь. К нему невозможно подготовиться. Он всегда – вдруг.

Карабкаешься, карабкаешься вверх и внезапно летишь вниз, не понимая, что происходит. Летишь и не веришь, что это случилось с тобой. Хотя что странного в том, что и на тебя распространяется закон всемирного тяготения?

Мой старый друг Тимур лежал на моей любимой жене Александре, которая в это время должна была загорать на Иссък-Куле с подругами, и тела их были нанизаны на толстый сук вершинной ели.

Они сжимали друг друга в окоченевших объятиях.

Сук, пронзив тела, расстёгнутый спальный мешок, каремат, пригвоздил их к склону.

И треснул.

В продольной трещине накопилась свежая смола.

Сваленное ураганом дерево ещё продолжало жить.

Отчего-то меня растрогали его альпинистские башмаки и её кроссовки, стоящие рядом у входа в палатку.

Не знаю, сколько продлилось это оцепенение срыва, заглушившее даже запах мертвечины, пока я не почувствовал что-то вроде рывка страховочной верёвки – боль, обиду, отчаяние, ярость, горе и этот отвратительный запах. Всё вместе, всё разом.

Смятение.

Если бы необратимая стрела времени полетела в обратную сторону и они ожили, я бы их убил.

Но они были мертвы. Давно и безнадежно мертвы.

И больше всего на свете мне хотелось оживить их.

Оживить и простить.

Я любил этих мерзавцев.

В этом мире нет ничего более ужасного, чем необратимость.

Отвратительный трупный запах прогнал меня от мертвецов.

Вечная ель, пронзившая и изломавшая их тела, сломала и меня.

Что им теперь мгновенная смерть в сладострастный миг запретной любви?

Что мне делать с вашими разлагающимися телами?

Хотел бы я поменяться с вами местами.

Что бы ты сделала на моем месте, Александра?

Что бы ты сделал, Тимур?

Не распускай слюни. Делай то, что должен делать. Возвращайся за спасателями. Без вертолётa их отсюда не вынести.

За спасателями? Что здесь спасти?

Надо ли знать беременной Инге, как погиб её любимый муж и её любимая подруга?

Надо ли знать его и её детям, нашим детям, что здесь произошло?

Долго же город будет пересказывать эту мистическую историю о замшелой ели, простоявшей на вершине пять столетий лишь для того, чтобы убить любовников.

Она покарала их.

Бог покарал их.

Нет, нет.

Бог не может карать. Не дело Бога быть палачом. Это не его работа. Он – милосердие. Здесь не обошлось без дьявола. Его забота – губить, искушать, низвергать, наказывать, делать подлости исподтишка. Предавать. Заманивать, мстить.

Мечь и Бог несовместимы.

Смерть – территория дьявола.

Бог ни с кем не борется. Даже со злом.

Со злом борется другое зло.

Кто бы ни победил – побеждает дьявол.

Бог вообще ни с кем не должен бороться, потому что он – добро. Если добро побеждает – в нём уже зло.

Мысли мои были отрывочны, путались. Я был на грани сумасшествия.

Выходило, что всегда и во всём побеждает зло, дьявол. В любой борьбе и в любой жизни не было смысла.

Но если человек приходит к убеждению, что в этой жизни нет смысла, значит, он не верит в Бога. В Высший Разум.

Но не верить в Бога, в Высший Разум – большое самомнение.

Тупик.

В смерти, особенно в смерти близких людей, есть искушение.

Иногда непреодолимое.

Я знаю одно: в смерти нет Бога.

Он бессмертие.

Дьявол в наших телах, Бог в наших душах.

Не знаю, сколько я просидел в отчаянии и растерянности, пока в голову мне не пришла, как мне показалось, спасительная мысль.

Спасать мёртвых поздно.

Надо спасать живых.

Но вначале от безысходности я подумал: хорошо, если бы они пропали без вести.

Сколько их лежат под лавинами, оползнями, под валунами горных рек, в трещинах на ледниках?

Кто считал?

Половина бардовских песен об этих романтических смертях.

Ушёл в горы и не вернулся.

Да, тяжело.

Но для тех, кто не видел трупы, есть хотя бы крошечная надежда.

А кто их видел, кроме меня?

И вот тогда мысль оформилась окончательно. Я подумал: спасать мёртвых поздно, надо спасать живых.

Они должны пропасть без вести.

Нужен обряд погребения.

Да.

Как-то это связано со спасением душ.

Да.

Их тела должен отпеть батюшка.

Но неужели те, кого завалили лавины, кто погиб, не покаявшись, не исповедавшись, кого не отпели, чем-то виноваты перед Богом?

Обряд – условность.

Единственным, кто возьмёт на себя грех, буду я.

Речь не идёт о спасении их душ. Бог вещь, где сейчас их души. Здесь только два изувеченных тела, которые ничего не решают и в этом смысле невинны. Речь идёт о спасении моей души.

Если вернуться в город и приведу спасателей, я, несомненно, поступлю правильно. Спасу свою душу и стану предателем и стукачом.

Есть вещи, о которых нельзя рассказывать никому.

Если бы я застал их живыми, стал бы рассказывать о том, что видел, Инге, её и своим детям?

Не скажу, что мне стало легче. Но, определившись, я вернулся на землю и почувствовал себя способным к действию.

Со мной был складной швейцарский нож с пилкой и ледоруб. Верёвка и ледоруб всегда должны быть приторочены к рюкзаку, даже если ты выходишь в горы на прогулку. Безопасных гор не бывает.

Этих инструментов мне хватило.

Маленькой пилкой я перепилил треснувший сук, проткнувший их тела.

Запах тления отвлекал от сомнений. Я уже не думал, правильно ли я поступаю. Я просто пилил, стараясь дышать не глубоко и часто меняя руки: одной пилил, другой прикрывал нос панамой.

Отпиленный сук сыграл подобно луку, у которого внезапно оборвалась тетива, и больно ударил по пальцам.

Удивительно, как легко переносится боль в таких ситуациях.

Легко и благодарно.

Физическая боль на короткое время вытесняет боль душевную.

На очень короткое.

Но спасибо и на этом.

Я вытянул из-под ствола палатку с телами и протащил вверх по склону.

Дно шуршало. Сук, проткнувший их тела, царапал землю. Он сильно тормозил выложение, но мне и в голову не приходило извлечь эту занозу.

Я подтащил палатку к краю ямы, образовавшейся на месте вывернутых корней вершинной ели.

Отдышавшись, принялся углублять яму ледорубом.

Работал яростно.

Без перерывов.

Почва была тяжёлой, каменистой. Точнее, это был растрескавшийся, слоистый камень.

Трудно было выцарапать первый осколок.

Но затем работа пошла легче. Плитку за плиткой, слой за слоем я выковыривал камни и аккуратно складывал по краям ямы.

Да, аккуратно.

Дрожали руки и ноги, всего меня колотил озноб, но я старался работать как можно аккуратнее.

В этом было спасение.

Избавить от нервного срыва может только сосредоточенная работа.

Ну, еще драка.

А я всегда был системным человеком и во всём любил порядок. А драк не любил. Драка – хаос.

Я работал аккуратно, методично, но чувствовал, как всё глубже погружаюсь в хаос, становлюсь частью хаоса. Чего-то противоестественного и неостановимого. Как лавина. Как ураган. Как война. Стихийное бедствие.

Нет, я не стал извлекать сук, скрепивший их тела.

Возможно, останавливал запах. Но во мне не было брезгливости. Я уже переступил черту. Просто не видел в этом смысла.

К тому же я торопился, опасаясь появления вертолётa.

Время от времени мне мерещился шум его винтов.

Нет, я не стал вытаскивать из них эту занозу, о чём сейчас жалею.

Стащил в палатке на дно углубления.

В палатке, которую я подарил ему на день рождения.

Подоткнул ледорубом полотно по бокам.

Потом сходил за его башмаками и её кроссовками. Поставил в ногах.

И вид этой обуви был таким трогательным, что губы мои стали дёргаться.

Я сотрясался в беззвучных рыданиях без слёз и тщательно – плитка за плиткой – обкладывал их тела камнем, стараясь правильно совмещать трещины.

Я не сказал над телами мертвецов ни слова.

О чём говорить?

Что?

Кому?

Немота предгорий, переживших стихию, окружала меня. Тишина поваленного леса, обречённого на долгое гниение. И такая же безнадежная тишина была во мне.

Я хотел сказать: в моей душе.

Но я не чувствовал душу.

Я чувствовал себя мертвецом, который не мог больше ни страдать, ни ненавидеть, ни любить. Я чувствовал себя вечной елью, распластавшейся по склону вниз вершиной.

В ней ещё была жизнь.

Но она была мертва.

Мне не хотелось просто завалить их тела камнями и землёй. Мне хотелось что-то сделать для них.

Достал из рюкзака яблоко...

Это была пеструшка. Летний сорт.

Положил яблоко между его башмаками и её кроссовками. Но передумал и переложил к изголовью.

А потом уложил первый камень поверх палатки.

Когда тела были заложены камнями, я обошел земляную завесу, вскарабкался по ветвям на ствол и ударами ледоруба обрушил спрессованный пласт почвы, налипшей к корням. С сухим грохотом комья спекшейся, цементированной с гравием земли падали вниз и, рассыпаясь, заполняли яму.

Вид обнажившихся корней, толстых, как стволы деревьев, расстроил меня.

Я сел, а затем лёг на ствол вечной ели и смотрел на небо, в котором ничего не было, кроме задранных вверх корней и моих слёз.

Исчез запах тления. Пахло лишь потревоженной землёй и расщепленной древесиной. И я снова почувствовал душу.

Но в душе моей была пустота.

Эту пустоту вечности ещё зовут тоской.

Я подумал: исчез запах, я не видел их, я их не нашёл. Они пропали без вести. Тишина.

От прошлого не осталось даже хвойного шума.

Кукушка грустно, словно не веря себе, обещала кому-то долгую жизнь.

Но некому было считать года.

Орёл преломился в слезе и, временами пропадая в зоне слепого пятна, медленно кружил в восходящем потоке, ни разу не взмахнув крыльями.

Я хотел посмотреть на себя со стороны. Увидеть себя таким, каким меня видел в этот момент орёл, поднимающийся в восходящем потоке.

Со стороны всё кажется проще, чем есть на самом деле.

Потому что дело не касается тебя.

Когда дело касается тебя, всё кажется сложнее, чем оно есть. Начинаешь паниковать, терять хладнокровие. Сомневаться.

Окажись в моей ситуации более здравомыслящий человек...

Хотя нет.

Любой человек, заложивший камнями двух самых близких ему людей, спрятавший их тела в яме из-под выдранных корней, потерял бы способность рассуждать здраво.

Нужен именно человек со стороны.

Я много раз пытался посмотреть на то, что случилось со мной в тот день, со стороны. Глазами постороннего, равнодушного судьи. Я пытался смотреть из прошлого, из будущего, с другой планеты, из другого измерения. Но у меня ничего не получалось.

Нет у меня такого воображения. Не могу смотреть на себя со стороны.

Этот ураган переломал меня. И я уже не знаю, что правильно, что неправильно.

Знаю одно: я их не похоронил, я их спрятал...

* * *

Рассказчик замолчал.

Вагон раскачивался и скрипел, как дом при шестибалльном землетрясении.

– Как думаете, в моих действиях есть состав преступления? – спросил Козлов.

– Несанкционированное захоронение? – уточнил гривастый.

– Нет, конечно, – с лёгкой досадой сказал Козлов. – Я не о том. Это меня меньше всего волнует.

– Соккрытие самого факта смерти? – снова уточнил гривастый и надолго задумался.

– Вы каким-то образом связаны с религией? – спросил Козлов.

– Советское атеистическое воспитание.

– Борода, власы. Я подумал – батюшка.

– В дороге можно и атеисту исповедоваться. Где и исповедоваться, как не в поездах. В поездах два раза не встречаются, – отвечал гривастый. – Облегчил

душу – и ладно. Такое в себе столько лет держать – умом тронуться можно. А ваш случай не мне судить. Да и кому судить? И есть ли грех на том, кто скрыл чужой грех? В конце концов, какая разница покойнику, где лежать? Разве что раз в год цветы на могилу не положат. А нужны ли цветы мертвецам? Лично я бы предпочёл тесноте городского кладбища вершину горы. Хотя не люблю я ваши горы.

– Иногда я к ним поднимаюсь, – сказал уставший от долгого рассказа Козлов. – Люди, что расчищают склоны от упавших деревьев, ещё не добрались до Мохнатой. Возможно, никогда не доберутся. Да и правильно. Нечего соваться в дела природы. От их зачисток ещё больше вреда.

Гора стоит особняком. В стороне от туристских троп и лыжных трасс.

Сейчас там даже грибы не растут.

Делать там нечего. Да и желающих ноги сломать мало.

В последний раз, правда, встретил на перевале Разбитых термосов старика.

Сооружал из поваленных ураганом елей место для привала. На два параллельно упавших циклопических размеров ствола уложил поперёк стволы потоньше. Получилось – стол, скамьи. Вырубив на стыках пазы, сколачивал конструкцию гвоздями. Таких гвоздей я раньше не видел. Полуметровые.

Вколачивает дед обухом топора гвозди и ворчит: «Не приколотишь – непременно раскатят по склону. Всякий народ стал по горам шататься».

И на меня косится с осуждением.

Весь скрюченный, сухой. Видать, поносил рюкзаки по тягунам.

Я ему помощь предложил. Отказался. Спросил:

– Куда идёшь?

– Да так, гуляю.

А он с большим подозрением:

– А почему один?

– Не с кем, – отвечаю.

– В наше время по одному в горах не ходили. В наше время было с кем по горам ходить.

И стучит дальше. Эхо, будто по всем горам ковры выхлопывают.

Пошёл я. Оглянулся, а он мне вслед смотрит. Взгляд пронзительный, недоверчивый. Проницательный. С такими глазами только чужие мысли читать.

Испугался я, стал петлять, со следа сбивать. Вернулся назад, сделал порядочный крюк и поднялся на Мохнатую кружным, более сложным путём.

И знаете, что я увидел на вершине?

Ёлочку.

Стволик пальцами одной руки можно обхватить.

Крохотуля ниже колена.

Прямо над ними растёт.

Как живое надгробье.

Даже на душе легче стало.

Пройдёт каких-нибудь сто лет – и вырастет новая вершинная ель.

И они станут частью её.

Да.

Что удивительно. Лесной дракон, уродина, пережил ураган.

Все полегли, а он, калека, торчит над буреломом.

Возвышается.

Искалеченного свалить труднее.

Иногда я сам себе кажусь Лесным драконом, калекой.

Манит меня на Мохнатую.

Вид с вершины на снежники всё тот же. Только отклика в душе нет. Одна тоска. Но знаете, и тоска притягивает. Прихожу, сажусь на издырявленный древоточцами ствол вершинной ели и вспоминаю, как мы вчетвером обнимали её. Этот вселенский, гипнотический гул общей жизни. Умиротворение бессмертных существ, живущих над облаками. Всё, что происходило внизу, казалось такими пустяками.

Так оно, наверное, и было.

Тонкие вибрации. Чувство единого существа – единого с вершинной елью, с планетой, в которую вгрызаются её корни, со всем мирозданием, куда нацелена её вершина.

Зелёное копьё.

И вот лежит она на склоне вершиной вниз, корнями вверх.

А там, где она стояла...

Так тихо на вершине, что слышно, как точат древесину вершинной ели жучки.

И они там, под молодой ёлочкой.

Они просто попытались вернуться туда, куда нет возврата. Нарушили закон необратимости. А стрела времени не прощает таких затей. Вот и всё.

Как-то, возвращаясь с Мохнатой, обхватил я ствол молодой ели.

Долго стоял.

И знаете что?

Никаких тонких вибраций, никакой космической энергии не почувствовал.

* * *

Мобильный телефон заиграл «Болеро» Равеля.

– Да, – сказал Козлов и поспешно вышел в коридор, прижимая телефон к уху.

– Алма-Ату снова потрянуло, – сказал он озабоченно, вернувшись. – Звонили сообщить, что всё в порядке. Чтобы не пугался, когда новость услышу.

– Сильно потрянуло? – спросил я.

– Извините, и вас разбудил. Прилично. Многие в автомобилях досыпали. А у кого машин нет, вокруг домов всю ночь гуляли. Весь город не спал.

– Часто трясет в последнее время, – сказал, зевая, гривастый. – Однако дозвонились. Значит, мы в зоне приёма. Скоро большая станция.

Я сел на полку, достал из пиджака мобильник. Нужно было узнать, как пережили землетрясение мои.

– Не нравятся мне ночные звонки. Ох, не нравятся, – сказал Козлов.

Челночица сошла в Караганде.

– Ну, прощайте, мужики, – сказала она с мужской брутальностью, когда мы вынесли её баулы и погрузили на тележку носильщика.

– Отчего же прощайте? До свидания, – мягко и несколько игриво поправил её гривастый.

– Да нет уж, прощайте, – отвечала она, хмыкнув, – в поездах два раза не встречаются.

Мне и гривастому она кивнула, а Козлову крепко пожала руку:

– Спасибо за судака. А фашиста-то поймали?

Козлов смутился:

– Какого фашиста?

– Того, что свастики в горах малевал.

– Не знаю. Должно быть. Свастики в горах больше никто не малует.

Остаток пути мои спутники, наговорившись за ночь, дремали. Только на подъезде к Астане гривастый спросил Козлова:

– Надолго в северную столицу?

– Как получится.

– По делам?

–хлопоты по поводу смены гражданства.

– Значит, в Россию уезжаете?

– Почему в Россию? Если уезжать, то уезжать. В Канаду.

– В Канаду? Далеко, однако. Не знаю, как это – сменить страну. Страшновато,

– примерил ситуацию на себя гривастый.

– Мне всё равно, где доживать, – отвечал отстранённо Козлов, – надо о детях подумать.

– И много их у вас?

– Пять.

– Пять? Так это она вам звонила?

– Да. Решили мы объединить две половинки наших семей в одну. У её детей должен быть отец. У моих детей должна быть мать.

– Это хорошо. Это очень хорошо, – сказал гривастый растроганно. – А она знает, что случилось на Мохнатой?

– Нет, – сухо и мрачно ответил Козлов.

Гривастый долго молчал, а потом сказал как бы в никуда:

– Может быть, и правильно. Может быть.

Август – декабрь 2011 года

Николай Веревочкин родился в 1949 году в Северном Казахстане. Окончил Казахский государственный университет. Опубликовал семь книг. Несколько рассказов из первой книги вошли в хрестоматию «Русская словесность» для 5 класса казахстанских школ (2001). Лауреат республиканских конкурсов в номинациях «Современная пьеса» («Ковчег-транзит, или Время строить лодку») и «Современный роман» («Зуб мамонта»). Лауреат «Русской премии» за 2006 год (повесть «Человек без имени»). Был в числе финалистов конкурса «Ясная поляна» имени Л. Н. Толстого за 2007 год. Печатался в «Просторе», «Дружбе народов», «Знамени» и других журналах. Живет в Алма-Ате.

